ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

3 (1153) · 1991

Валентин Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

СЛОВО ИСПОВЕДИ И НАДЕЖДЫ

Издательство «Молодая гвардия» выпускает книгу «Слово исповеди и надежды. Письма русским писателям». В этом сборнике будет представлена читательская почта Валентина Распутина, Евгения Носова, Олега Волкова, Виктора Лихоносова, Дмитрия Балашова, Владимира Личутина, других писателей. Целый раздел книги составляют письма, адресованные Валентину Пикулю. Он открывается размышлениями писателя о читательской почте.

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ:

Хуже нет, когда читатель просит разрешить его конфликт с сельсоветом, помочь в пересмотре его уголовного дела или срочно выслать ему свое «собрание сочинений». Стараюсь на такие письма не обращать внимания, ибо я не председатель сельсовета, не прокурор и даже не классик, чтобы иметь «собрание».

Писем много! Если отвечать на все, то я уже никогда бы не смог писать прозу — для нее не хватало бы времени. Пусть читатели поймут меня правильно и не обижаются, если до сих пор не получили ответа. Из массы писем я выбираю лишь те, которые меня могут заинтересовать. Это — письма с вопросами по генеалогии, ибо я влюблен в эту науку родственных отношений. Это — письма музейных работников, спрашивающих о портретах старого времени, которые в каталогах значатся «неизвестными». Наконец, я благодарен читателям, указавшим мне на ошибки или просчеты, допущенные мною в романах.

Каких читателей я не люблю! Не люблю тех, которые считают свои биографии достойными «бессмертия» и требуют от меня, чтобы я немедленно взялся за их жизнеописание. Тошно бывает, когда из конверта выпадает скомканная десятка или пятерка — с суровым наказом выслать свои последние романы, для чего со мною заранее рассчитываются. Должен сказать, что я дарю свои книги инвалидам Отечественной войны, несчастным калекам, прикованным к постели, наконец, просто бедным людям, которые откровенно пишут, что их пенсии не хватает на приобретение моих книг.

Здесь мое сердце плачет — я становлюсь добрым!
Но добрым человеком я себя никогда не назову...

Здравствуйте, уважаемый Валентин Саввич!

Представляю, как вы бываете заняты, и все же пишу к вам в надежде, что у вас найдется добрый совет для меня.

Мне тридцать три. Мировоззрение мое складывалось в условиях провинциальной обывательщины, где за житейское счастье считается чистенькая работа и хорошие деньги за нее. Здоровые дети, но не более двух, чтоб полегче, где здоровье родителей тоже несколько ценится, потому как с здоровыми легче получить прожиточный минимум (меблированную комнату и прочее) еще до женитьбы. Школяром я был отвратительным. Житейская школа тоже почти ничему не научила. Детская привычка принимать мир таким, как он есть, постоянно ставила передо мной вопрос: почему все так, а не иначе? Почему ценности так сильно сместились не в лучшую сторону, почему слово утратило силу? Иногда меня осеняла какая-нибудь идея, и мне казалось, что многое понятно. Потом все уходило, было жаль.

Однажды мне в руки попала брошюра по занимательной психологии. Я нашел там кое-что и предупреждение автора о том, что полуграмотность в психологии вредна.

Прошлым летом я попал в условия, где ничто не мешало сосредоточиться на какой-нибудь мысли. Раздумья в один прекрасный день привели меня к мысли о том, какую тяжесть несет в себе наше отрешение от древности. Что наше поколение оставит следующему? Тогда мне помог друг, с которым я мог говорить об этом. Он вылечил меня всего одной фразой. Он сказал: «Нельзя мыслить рационально». Я слегка остыл, но ненадолго, уединение на работе продолжало свое дело (я работаю электриком на подстанции вдали от города). Воображение мое начало четко вырисовывать художественные образы. Я почувствовал, что стою у истоков понимания красоты. Вы сказали, что бесполезно удерживать человека, если его позвало море. Море требует умения плавать и не бояться бури. Именно к вам я обращаюсь еще потому, что из кратко изложенной биографии вашей в предисловии к роману «Фаворит» я узнал, что вы пришли к творчеству необычным путем, через трудный путь самообразования. Наверное, из этого отчасти складывается счастье. Я еще не знаю, что из меня получится. Если бы я жил два века назад, то наверняка выбрал бы школу фехтования и танцев. Современность требует знаний.

Читал я очень мало, люблю Рериха, но он мне не до конца понятен. Мне нравится Достоевский, но с ним трудно общаться.

Подскажите, пожалуйста, чем преодолеть свою серость и косность мышления, кого выбрать в помощники к толковому словарю? Я чувствую, что не мешает начать с латыни, но я не знаю даже языка республики, в которой живу. К совету вашему отнесусь серьезно и буду много благодарен.

С наилучшими пожеланиями, доброго здоровья, счастья
Харин Александр.
г. Елабуга Татарской АССР.

РОМАН-ГАЗЕТА
НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
МОСКВА
3 (1153) · 1991
Основана в 1927 г.

Валентин Пикуль
НЕЧИСТАЯ СИЛА

РОМАН

(Окончание)

Отдельные кабинеты, дамочки, рюмочки, секретная агентура, растраты, подлоги и опять дамочки, взяточки, рюмочки... Таково общее впечатление.

Газеты — об А. Н. Хвостове

Вы знаете меня — я человек без задерживающих центров. Я люблю эту игру, и для меня все равно — что водки выпить, что придавить Гришку Распутина!

А. Н. Хвостов — для газет

Часть седьмая

ХВОСТОВЩИНА С ХВОСТАМИ

(Осень 1915-го — осень 1916-го)

ПРЕЛЮДИЯ К СЕДЬМОЙ ЧАСТИ

Хвостов ведал графиком движения царского поезда, курсировавшего между Ставкой и фронтами; ответственность была велика, ибо достаточно одной бомбы с немецкого «альбатроса», чтобы в династии Романовых все перевернулось вверх тормашками! Секретность маршрутов очевидна, и Хвостов никак не мог разуметь, почему в Берлине всегда знают, в какое время на какую станцию прибудет литерный с самим царем и наследником престола. Кого можно подозревать, если почасовики расписаний министр скрывал от всех сослуживцев, доверяя их одной императрице... Алиса успокаивала мужа, что Хвостов «привез мне твои *секретные* маршруты, и я *никому ни слова об этом не скажу, только нашему Другу,* чтобы Он тебя всюду охранял». В ноябре, когда царский поезд отошел от станции Сарны, разведка задержала его движение — навстречу летели немецкие самолеты, неся бомбы... Распутин всегда имел копию маршрута, дабы обращать свои молитвы за царя и наследника соответственно их географическому положению. Будучи трезв, Гришка помалкивал. Но стоило «заложить за галстук», как он начинал трезвонить направо и налево все, что знал, дабы

Окончание. Начало см. № 1, 2 за 1991 г.

показать свою осведомленность в делах государства. Каждую субботу Распутина призывал на уху Игнатий Манус, усиленно потчуя его мадерой первого сорта. В союзных посольствах были убеждены, что именно из квартиры Мануса сведения о делах Ставки струятся в лоно германского генштаба. Николай II в письмах к жене подробнейшим образом описывал обстановку на фронте и планы будущих операций[1], не забывая при этом напомнить: «Прошу, любовь моя, не сообщай этих деталей никому, я написал их только тебе...» *Только тебе* — это значит, что будет знать и Распутин! Сама императрица в военных делах не разбиралась, но зато чутко воспринимала распутинские директивы, рождавшиеся в его голове после тяжкого похмелья. В ноябре она диктовала мужу: «Теперь, чтобы не забыть, я должна передать тебе поручение от нашего Друга, вызванное Его ночным сновидением. Он просит тебя *приказать* начать *наступление возле Риги...*» В результате была страшная ночная атака у озера Бабитэ, шрапнель косила стрелков; обратно ползли по окопам, словно крабы, боясь поднять головы... Вот так! А вывод тошнотворный: в одном случае наступление не состоялось, ибо Распутин, пожалев своего сыночка, сорвал призыв ратников; в другом случае наступление состоялось только потому, что Гришка видел приятный сон...

В конце года Ставку посетили премьер Горемыкин и генерал Рузский, начальник Северо-Западного фронта, прикрывающего столицу от немцев под Ригой и Двинском. Они предупредили Николая II об угрожающем положении в Петрограде.

— Возможны беспорядки,— сообщил Рузский.

— Ваше дело, генерал, войсками своего фронта подавить беспорядки, если таковые возникнут,— заметил Горемыкин.

— А я такого приказа не дам.

— Почему? — спросил царь.

— Приказы можно отдавать, когда уверен в их исполнении. Но я знаю, что сейчас не пятый год, и солдаты не станут стрелять в народ, как бы энергично я ни приказывал.

— Не пугайте меня гидрой революции,— ответил царь.

Этот диалог тоже стал известен в Берлине, он обсуждался в нашем посольстве в Стокгольме, а Рузского скоро сместили!

Дочери царя превратились в смешливых барышень, весьма критически относившихся к родителям. Сестры отлично владели английским, хуже французским, а по-русски говорили неграмотно. Царица выдавала им «на булавки» по пятнадцати рублей в месяц, они ходили в ситцевых платьях, спали на железных кроватях под серыми суконными одеялами, будто солдаты. Надо отдать справедливость, что воспитаны они были без зазнайства: если старик лакей ронял что-либо на пол, все четыре великие княжны сразу же бросались поднимать... Заводилой и главным критиком своих венценосных родителей была Ольга, самостоятельная, начитанная в русской истории, тайком от семьи писавшая стихи. Все четыре царские дочери были по-девичьи несчастны. Причиной несчастья являлся Распутин, ибо газеты Европы писали о быте Царского Села страшные вещи, и потому богатейшие невесты мира совсем не имели женихов. Правда, незадолго до войны Ольгу возили напоказ в Румынию, были все шансы для того, чтобы она стала румынской королевой, но Ольга, вернувшись домой, долго бродила по царскосельским паркам, а потом заявила, что жениху отказывает, ибо не может представить себе жизни без России. Ее женихом стал великий князь Дмитрий Павлович, которого Николай II выделял среди своей родни, еще не зная, что он станет убийцей Распутина. Ольга безумно влюбилась в Дмитрия, но роман закончился катастрофой...

Четыре барышни оказались на положении «вечных невест», и Ольга, девица с характером, возненавидела Распутина — лютейше и страстно. По вечерам в гостиной Александрии стрекотал киноаппарат, царская семья очень любила просматривать хроникальные фильмы о себе, снятые практичным Хвостовым. Тишком от матери сестры подшучивали над дрыгающими на экране фигурами родителей, а когда экран заполнял Распутин, рассказывающий сказки наследнику Алексею, Ольга открыто фыркала, возмущаясь:

— Опять этот... нет сил выносить его!

— Он молится за всех нас,— возражала мать.

Наконец, выступая от имени всех сестер, Ольга устроила матери скандал.

— К нам уже никто не ходит, мы живем хуже пещерных дикарей и всего боимся. Только один Распутин шляется к нам, когда ему вздумается! Иногда, мама, стоит послушать, что говорят в госпитале солдаты... Мне все противно, и я лучше уеду на фронт санитаркой, только б не видеть твоего любимца! Боже, где у тебя глаза? Неужели ты сама не видишь, что над нами все смеются...

Распутин узнал об этом и отомстил Ольге — столь паскудно, что нормальный человек даже не может придумать такой подлости. Скоро до Белецкого дошли его слова, записанные филерами: «Мне царицка надоела — я теперь с дочкой ее, с Ольгой... ничего девка!» Белецкий велел усилить наблюдение, доложил Хвостову.

— Надо брать,— отвечал министр.

— А вдруг это и в самом деле дочь его величества?

— Ну что ж — возьмем и отпустим.

Вскоре с «Виллы Родэ» позвонили агенты:

— Темный здесь. Гуляет вовсю. Денег много. Сейчас послал автомобиль за великой княжной Николаевной.

— Берите ее, но... деликатно.

Через полчаса — новый звонок:

— Она приехала. Прошла в общий зал. Там сейчас дым коромыслом. А как брать? Это и правда великая княжна Ольга.

— Все равно брать и сразу на Фонтанку...

Притащили красотку! Точная копия великой княжны.

[1] После революции, при разборе бумаг императрицы, была найдена карта с детальным обозначением войск всего фронта, которая готовилась в Ставке лишь в двух экземплярах — для Николая II и генерала М. В. Алексеева. Интересно, кто мог ею пользоваться?

Даже шубка на ней точно такая же, какие носили одинаково одетые дочери царя. «Ольга» закурила папиросу, выпустила дым в Белецкого.

— А ты знаешь, что тебе за меня будет?

Белецкий позвал Хвостова, а тот, человек решительный, закатил «ея высочеству» звончайшую оплеуху — вмах.

— Кто у нас проституцией ведает? Пусть придет.

Явился чиновник Протасьев, знавший ночной быт столицы и все его тайны. С укором посмотрел на «Ольгу» и сказал:

— Ах, Муська! Ни стыда ни совести... Твоя ли это клиентура — Распутин-то? Сшибай бобров на Глазовой улице... Брысь!

Девке дали раза три по шее и выгнали на улицу.

— Несмешное дело! — сказал Белецкий.— Мы вопрос выяснили, но ведь публика на «Вилле Родэ» так и останется в уверенности, что Распутин живет не только с царицей, но и с ее дочерьми.

— Обычно,— отвечал Хвостов,— в культурных странах дают через газеты опровержение. А мы некультурные — промолчим!

. . . . . .

Филеры порою даже боялись записывать все рассказы Распутина, иногда похабные, иногда звучавшие крамольно... Но один рассказ все-таки запечатлели: «Приезжаю я в Царское, папашка грустный сидит. Я его по головке: чего тоскуешь-то? А он говорит: сапог нет, ружей нет, противогазов нет, надо бы наступать, а наступать нельзя. Вот, говорю, безобразиев сколько! Папашка рассказал, что смотр делал. Прошел полк — в новых сапогах. За ним второй. Тоже в новых. Третий идет — блестят сапоги у них. Он и скажи Косте Нилову, чтобы тот за пригорок сбегал. А там, за горушкой-то, один полк скидает сапоги — другой надевает. Так и ходят перед ним... Я его спрашиваю: как же ты наступать-то будешь? А он чуть не плачет: сам не знаю... англичане сулили ружей дать через два месяца!»

Пока во главе Ставки находился дядя Николаша, фронт влияния распутинщины не знал. При Николае II положение изменилось. Конечно, запускать немытые пальцы в стратегию штабов Распутин не осмеливался. Но советы его подавались под видом «пророчеств», «откровений» и «сновидений». А Хвостов сейчас обдумывал, как лучше дискредитировать Распутина в глазах царской семьи. Уведомившись, что Гришка пребывает в состоянии скотского опьянения, министр уже не раз устраивал ему срочные вызовы в Царское Село; филеры втаскивали Гришку в купе, словно мертвый балласт, но когда поезд прибывал в резиденцию, Распутин выходил на перрон трезвым — не качнется, говорит здраво...

— Напрасно стараетесь,— сказал Белецкий,— Гришка обладает поразительной способностью очень быстро трезветь.

— Побольше денег! — отвечал Хвостов.— Подсаживайте к нему компании, я сделаю из него законченного алкоголика...

Задача увлекательная. Паче того, Распутин, напиваясь с большой охотой, кажется, сам шел навстречу желаниям министра. Беспробудное пьянство началось в ноябре 1915 года, и Хвостов с удовольствием анализировал филерские листки:

Распутин на моторе уехал в Царское Село и вернулся с Вырубовой, перекрестил Вырубову, и та уехала. Распутин с Абрамом Боберманом уехали на моторе и вернулись через 6 часов, причем Распутин был выпивший и на прощание целовался с Боберманом. А когда шел в квартиру, то спросил: «Кто у меня есть?» Ему сказали, что ждут две дамы. «А красивые?» Ему сказали: «Да, очень красивые». «Ну, хорошо, такие мне и нужны». Около 7 вечера он вышел из дома, не проспавшись, бормотал непонятное, стуча палкой.

Секретарь Распутина А. Симанович принес корзину и сказал, что тут 6 бутылок мадеры, икра и сыр.

Распутин вернулся в 5 утра пьян.

К Распутину на моторе приехал еврей Рабинович и отправились в «Донон» (Мойка, 24)... привезли в ресторан Джанумову и Филиппову, после обеда Распутин поехал с дамами...

Распутин вернулся пьяный домой в 9 час. 50 мин. утра... вероятно, ночевал у актрисы Варваровой.

Распутин на моторе отправился в ресторан «Вилла Родэ», куда за поздним временем не пускали. Тогда он стал бить двери и рвать звонки, а городовому дал 5 рублей, чтобы не мешал... На ночь ездил в Царское Село.

Хвостов захлопнул папку, в которую день за днем подшивались филерские листки. Сказал удрученно:

— Не спивается! Необходимо крутое решение...

— А мы проморгали одну штуку,— подсказал Белецкий.— Оказывается, в Петербург приехал долгогривый Питирим, экзарх Грузии, и тихо поживает на Васильевском острове. У него темные связи с Распутиным, и надо ожидать изменений в Синоде.

— То-то Вырубова меня на днях спрашивала: как я отношусь к Питириму? А какие данные о нем имеете?

— Из латышей. Сын священника церкви Кокенгаузена. Как и все высшее духовенство,— рапортовал Белецкий,— Питирим содомник, секретарем при нем — Осипенко, бывший учитель пения в гимназии. Ясно, что экзарх — креатура Распутина, но Питирима по ночам конспиративно навещает еще и... Штюрмер!

— Я должен взорвать этот альянс! — воскликнул Хвостов, с хрустом переломив пополам ручку с жестким перышком «рондо».

1. МЫШИНАЯ ВОЗНЯ

Днем и ночью по Николаевской дороге громыхали товарные составы, везущие на брега Невы продовольствие и топливо,— Хвостов работать умел. Министр не учел только одного: насыщая Петроград, он оставлял на голодном пайке Москву, и теперь надо было срочно толкать эшелоны из Сибири, Поволжья и Средней Азии; москвичи мерзли в «хвостах», а ломовые извозчики Петрограда свозили мясные туши на мыловаренные заводы — тоннами! Газеты обвиняли в этом безобразии владельцев складов и боен, которые дока-

зывали, что мясо давно сгнило и годится только на мыло. «Если оно сгнило,— рассуждали в печати,— значит, оно завалялось на складах в то время, когда население голодало. Вывод один: спекулянты нарочно придерживали продукты, чтобы нагнать на них цену...» Россия уже привыкла к тому, что гладко никогда не бывает, но война обнажила самые гнусные язвы бюрократии и капитализма. Народ (как и сам Хвостов) еще не знали, что банкир Митька Рубинштейн стоит во главе подпольного синдиката, который через нейтральные страны перекачивает в Германию русские запасы продовольствия... Кстати уж — Манус однажды обиделся на Распутина:

— Я столько сделал для развития русской промышленности, а чин действительного статского советника ты устроил не мне, а Митьке Рубинштейну... за какие, спрошу тебя, доблести?

За те же самые «доблести» Манус тоже получил чин; теперь два явных изменника были приравнены по тебели о рангах к званию генерал-майора. А это уже 4-й класс — элита общества!.. И никогда еще богатые люди не ели так вкусно, не пили таких вин, как в это время. В моду вошли застолья, на которых процветали нравы периода упадка Византийской империи, в этих пирах чуялось что-то жуткое.

. . . . . .

Клерикальная элита России в канун революции настолько исподличалась, духовенство обросло такой грязью, что я отказался от описания многих интересных фактов распутинщины только по причинам морального порядка. С тех пор как убрали Саблера, обер-прокурором в Синоде сидел Волжин, стол которого был завален делами о растлении епископами малолетних девочек, о мужеложстве столпов высшей иерархии русской церкви... Он позвонил Хвостову.

— В какой-то степени,— сказал Волжин,— я попал в Синод по вашей милости, так помогите мне! Я чувствую, что появление Питирима — это сигнальный звонок к моему изгнанию.

— Вы можете разгадать предстоящую аферу?

— Я же не сыщик. Но догадываюсь, что сначала надобно вскрыть нелегальные связи Питирима с Распутиным...

В паршивом настроении Хвостов заглянул в кабинет своего товарища и спросил Белецкого, что делается со стороны МВД, дабы проникнуть в планы Питирима... Степан сознался:

— Ничего!

Хвостов решил идти напролом, чтобы уличить Питирима как распутинского ставленника, метящего на пост первоприсутствующего члена в Синоде; Белецкий пытался его отговорить:

— Не связывайтесь с этой духовной шпаной.

— Чувствую, что этот продырявленный учитель пения становится великим государственным мужем. Но куда же мы катимся?

— Куда надо, туда и катимся...

В ноябре долгогривый Питирим переехал жить в Лавру: он стал членом Синода; распутинская комбинация завершения не получила,— Волжин на коленях умолил царя, чтобы не утверждал Питирима в первоприсутствующих, и Николай II согласился с мнением, что во главе иерархов церкви неудобно ставить гомосексуалиста.

Хвостов вызвал генерала жандармерии Комиссарова.

— Михайла Степаныч, переоденьтесь в статское. Распутин сейчас в Царском, дождитесь его и тащите прямо к Питириму.

На Гороховой, шляясь возле дома № 64, генерал дождался, когда из Царского прикатил автомобиль, в котором сидели сам Распутин, его дочери, неизвестная сестра милосердия с мышеловкой, в которой скрючилась озябшая мышь, и Осипенко с экземой на лице. Комиссаров действовал решительно, как при аресте преступника.

— Пересесть на извозчика,— велел он Распутину.

— На ча?

— Не разговаривать. Быстро... залезай!

Жандармы высоких рангов отлично освоили характер Распутина: этот хам и нахал становился как тряпка, если с ним говорили непререкаемым тоном. Распутин, побледнев, сел в коляску.

— Гони прямо! — крикнул извозчику.

Вот и Александро-Невская лавра, где они вылезли из коляски. Комиссаров не знал здешних ходов и выходов, а Распутин тут как дома и хотел сразу же убежать. Но генерал схватил его за воротник шубы и велел чинно следовать в покои Питирима, где их появления уже поджидал министр. Попивая синодский ликер, Хвостов с улыбкой пронаблюдал, как Распутин полез целовать Питирима.

— О-о... вы старые друзья? Теперь мне понятно, ваше святейшество, каковы потаенные норы, через которые вы добрались до бочонка с этим великолепным синодским ликерчиком...

Питирим был в ярости оттого, что разоблачен.

— Это ты...— заревел он на Комиссарова.— Недаром в газетах пишут, что все жандармы — провокаторы!

Распутин тоже был недоволен ловушкой.

— Негоже так-то,— строго выговорил Хвостову,— я тебя по-божески в дела унутренние благословил, а ты шкодишь...

Хвостов, не глядя на Питирима, приказал Гришке:

— Не раздевайся! Поедешь со мной.

— Зачем?

— Там узнаешь.

— А куды?

— Там увидишь...

Приехали на Итальянскую, где была конспиративная квартира МВД; Хвостов открыл ее своим ключом, сказал Распутину:

— Кончай дурака валять! С Питиримом тебе номер удался, но ты не надейся, что протащишь на себе к власти Штюрмера...

Распутин, перекрестясь, заверил Хвостова, что к Штюрмеру никакого отношения не имеет, а в премьеры будет проталкивать его — Хвостова, и по этому случаю они как следует выпили. Но даже в пьяном состоянии министр постоянно ощущал, что взгляд Распутина обволакивает его целиком, будто трясина, из которой не выбраться («Несомненно,— признавался он,— Рас-

путин был один из самых сильных гипнотизеров... Я ощущал полную подавленность»). В потрясенной и разрушающейся стране два человека жаждали премьерского трона. Кто будет тем горластым петухом, что с торжественным криком взберется на самую вершину?

. . . . . .

Манасевич-Мануйлов навестил Питирима в Лавре; он задавал ему вопросы, но ответы получал от Осипенко; опытный демагог, Ванечка очень ловко заставил их сказать то, что ему нужно слышать:

— Говорят, что Штюрмер готовится в премьеры...

— А вам, владыка,— подхватил Ванечка,— следует активнее вторгаться в общественную жизнь.— При этих словах он протянул Осипенко адрес Лермы-Орловой, прося заходить запросто.

— Запросто не можем,— сознался Питирим.— За нами хвостовские жандармы следят, как коты за бедными мышами.

— Не беспокойтесь. У меня автомобиль, который не может догнать никакой мотор из департамента полиции...

Ближе к ночи из кабины мощного «бенца» он проследил, как берейтор Петц вкрался в подъезд дома № 36 по Бассейной улице (смелый цирковой наездник, он был паршивый конспиратор). Ванечка дождался, когда в спальне Лермы-Орловой погас свет, и казенный автомобиль медленно, словно в похоронной процессии, отвез его... к жене! А утром он валялся в ногах Белецкого, умоляя избавить его от жестокой ревности, умоляя арестовать Петца.

— Что угодно для вас сделаю... из шкуры вывернусь!

Поводом для ареста он выдвинул версию, что Петц продавал лошадей в Швецию, откуда они поступали в Германию. Белецкий обрисовал перед Хвостовым положение с Петцем и сказал, что Россия не рухнет в пропасть, если они этого Петца посадят.

— Сажая Петца в тюрьму, мы сажаем Манасевича на цепочку. Он что-то уже знает, но... молчит. Может, и проболтается?

— Черт с ним,— сказал Хвостов.

Петца посадили, а Манасевич-Мануйлов водворился на Бассейной, где устроил серию тайных свиданий Распутина со Штюрмером. Лерма-Орлова была фатально потрясена значимостью своего Ванечки в государственных сферах, и она быстро забыла про Петца, попавшего за решетку только потому, что он был моложе и красивее Ванечки. Скоро актриса увидела в своей квартире и долгогривого Питирима, который очень боялся, как бы его здесь не накрыл Хвостов с жандармами. Питирим ласково выведывал у Штюрмера, как он будет относиться к Осипенко, которого владыка скромно именовал своим воспитанником. Распутин заранее натаскивал Штюрмера на покорность:

— Ежели ты, старикашка, захошь рыпаться, я вить тебя под самый стол запинаю... Штобы — ни-ни! Штобы — на веревочке...

Штюрмер хватал руку Гришки, прижимал ее к сердцу.

— Григорий Ефимович, в этот великий миг, который уже вписывается на скрижали русской истории, я торжественно заверяю вас и всю великую мать-Россию, что без вашего благословения...

Питирим, вздрагивая при каждом звуке с улицы, осенял их крестным знамением — как дело святое, богоугодное.

Ночью Лерма-Орлова допытывалась у Ванечки:

— А что мне с этих свиданий будет?

— То же, что и мне,— отвечал он.— Заграничный паспорт и приятные сновидения на русские национальные темы...

. . . . . .

Белецкий зашел к Хвостову, посмеиваясь:

— А мы оказались правы, что посадили Петца... Сейчас у меня был Манасевич, и, чувствительно благодарный за то, что мы избавили его от ревности, он продал нам хороший товар. Он дал понять, что Распутин с Питиримом скоро вытащат наверх Штюрмера...

— Гришка предал меня! — закричал Хвостов.

Люстра под потолком кабинета поехала куда-то вбок и погасла. Весь мир стал коричневым и отвратно-суконным. Хвостов чуть не выпал из кресла. Опомнился. Быстро взял себя в руки.

— Честно говоря,— сознался с откровенностью (какая ему была присуща и которая его губила),— я ведь и сам метил на место Горемыкина... Значит, Гришка решил поводить меня за нос!

В чем соль? А в том, что товарищ министра страдал сейчас в унисон со своим министром. Займи Хвостов пост Горемыкина — тогда Белецкий сядет на место Хвостова, но с появлением Штюрмера эта проекция разваливалась. Хвостов, однако, не проболтался, что в его арсеналах хранится мощное секретное оружие против Распутина. Из великосветских будуаров он извлек черногорца-монаха Мардария, мужчину красоты небывалой, который уже два года без передышки «монашил» в спальнях аристократок. Мардарий был типичный альфонс, и потому Хвостов (сам циник!) говорил начистоту:

— Денег не дам — получи с бабья. Но я решил устроить тебе карьеру... Возьми-ка, братец, и займись Вырубовой. Она, правда, на костылях, но это даже оригинально...

Мардарий вскоре доложил, что Вырубова пала.

— Теперь жми прямо на царицу!..

Это был удар, способный сразить Распутина наповал. Мардарий успешно проник в покои Алисы, но в истории мирового фаворитизма он своего имени не оставил. Царица, как-никак, все же была «доктор философских наук», и она, естественно, возмутилась четкой оперативностью монаха, который действовал так стремительно, будто опаздывал на поезд... Хвостов прогнал монаха с руганью, заодно устроил и нагоняй своему товарищу — Белецкому:

— Тут что-то не так! У меня создается впечатление, что вы, сударь, заодно с Гришкой начали играть против меня.

Белецкому сейчас было невыгодно лишаться дружбы с Распутиным, но, коли к стенке прижали, надо как-то выкручиваться.

— Я устрою ему... мордобой,— обещал он Хвостову.

— Это мне ничего не даст,— отвечал министр.— Помимо шикарного мордобоя мне нужен еще скандал вокруг имени Распутина, обязательно с составлением полицейского протокола... Вы можете, не сходя с места, разработать точную стратагему скандала?

— Я использую близость к Распутину фоторепортера Оцупа-Снарского, который состоит при нем вроде флигель-адъютанта.

— Пардон, откуда вы знаете Оцупа-Снарского?

Хвостов не заметил, что Белецкий смутился.

— Совсем не знаю. Но он — приятель Манасевича.

— Действуйте. Вот деньги... сколько угодно!

На конспиративной квартире МВД, которую Хвостов использовал в личных целях, он сказал Наталье Червинской:

— Я успокоюсь, когда увижу труп Распутина...

Если раньше министры боролись с Распутиным вполне *легально*, добиваясь лишь его *устранения,* то Хвостов вступил в *нелегальную* борьбу, желая физического *уничтожения* Распутина!

2. БЕЙ ДУБЬЕМ И РУБЛЕМ

Историки уже давно заметили, что «хвостовщину» с полным правом можно отнести к разряду бульварных романов... Итак, решено: Распутина станут калечить! Впрочем, конокраду не привыкать.

Комиссаров пришел к Хвостову в недоумении.

— По-моему,— сказал он,— если уж вы решили Гришку трепать, то надо растрепать его так, чтобы не встал.

— Конечно. Какие могут быть сомнения?

— А Белецкий велел мне предупредить агентов, чтобы они Распутина кулаками пригладили, но костей бы ему не ломали.

— Я перестал понимать Степана! — ответил Хвостов.— От моего имени выдайте агентам бандитские кастеты...

Задумано было искалечить Распутина после вечеринки у Оцупа, когда Гришка выйдет из его дома и пошляется по глухому Казачьему переулку; деньги для кутежа МВД дало Манасевичу-Мануйлову с тем, чтобы он вручил их хозяину квартиры. Назначенные для избиения агенты были хорошо загримированы и переодеты под ночных гуляк; для быстрого бегства за поворотом переулка их должна ожидать автомашина с опущенным верхом. Хвостов сказал Комиссарову:

— Гришку прямо с панели надо сразу запихнуть в нашу машину и отвезти сначала в полицию для составления акта, а только потом уже везти к хирургам... Самое главное — побольше шума!

Вот и полночь миновала. Волшебное трио в составе Хвостова, Белецкого и Комиссарова уселось в служебную машину и дважды на малой скорости проехало Гороховую, вертясь в изгибах Казачьего переулка. Видели загримированных агентов, но в окнах квартиры Оцупа-Снарского почему-то не было света.

— Странно,— нахмурился Хвостов.

— Проедем еще раз,— сказал Белецкий шоферу.

— Опять темно,— глянул на окна Комиссаров...

Наездились всласть! Хвостов, замерзнув, велел шоферу развозить всех по домам, но при этом он выговорил своим коллегам:

— Вот вам анекдот! Я — министр внутренних дел, Степан Петрович — мой товарищ, а вы, Михайла Степаныч,— генерал-майор корпуса жандармов. Кажется, не последние людишки в империи, а вынуждены жулиться на морозе, чтобы подловить чалдона, который недостоин даже того, чтобы развязывать нам шнурки на ботинках.

— К чему вы это сказали? — спросил Белецкий.

— А к тому, что кто-то из нас предупредил Гришку.

— Только не я,— сразу же отперся Комиссаров.

— Про меня тоже не подумаешь,— сказал Хвостов.

— Выходит, на меня шишки падают? — спросил Степан...

Агенты с кастетами дрогли на морозе всю ночь, но Гришку не дождались. Стало известно, что деньги, выданные на гульбу из кассы МВД, были в ту же ночь дружно пропиты в отдельном кабинете «Палласа», причем пропивал их сам Распутин, а помогали ему Манасевич и Оцуп-Снарский (с ними была и Лерма-Орлова). Белецкий явился к министру с извинениями, вроде бы не понимая, кто их предал, кто завалил операцию — Манасевич или Оцуп-Снарский.

— Я знаю не их, а вас,— отвечал Хвостов.

— В чем вы меня можете подозревать?

— В том, что вы, обязанный по долгу службы охранять Распутина от покушений, действительно уберегли его от покушения. Ваше поведение не всегда бывает достойно звания дворянина.

— А я не дворянин! Я сын бакалейного лавочника.

— Вот вы и устроили мне из министерства лавочку...

Хвостов погодя созвонился с Побирушкой:

— Слушай, князь, ты вхож в дом Гришки, скажи, что он любит больше всего, помимо баб, денег, рубашек и мадеры?

— В кино ходит с дочками и племянницей Нюркой.

— Это ерунда, пускай ходит. А еще что?

— Обожает кошатин... их у него полно. Тут сенатор Мамонтов однажды кошке хвост в дверях прищемил, так Распутин его чуть из Сената не выставил. Кошки — это его страсть!

— Моя тоже,— отвечал Хвостов,— но за кошек мне трудно зацепиться. А я знавал по Вологде игумена Мартемьяна, которого сослали в Тюмень, а теперь он крутится в Питере около Гришки.

— Так это его ближайший сибирский друг!

— Ладно,— сказал Хвостов,— будь здоров...

. . . . . .

Штюрмер медленно поднимался все выше, и Хвостов, встревоженный его возвышением, развил не свойственную толстым людям бурную активность. Для начала он вызвал из Вологды, где когда-то вицегубернаторствовал, своего бывшего собутыльника Алексина, полицейского исправника, готового идти за ним в огонь и в воду.

— Вот что! Я поставлю тебя вице-губернатором в Тобольск, а за это ты должен пришлепнуть Распутина... Согласен?

— Это нам раз плюнуть,— согласился Алексин.

Комбинацию убийства Хвостов решил укрепить с другого фланга и вызвал к себе Мартемьяна, который в Вологде выдавал себя за юродивого, а жил с того, что предсказывал купцам пожары и свадьбы. Хвостов заранее перелистал филерские листки за прошлые годы, убедившись, что Мартемьян близкий к Распутину человек, в Тюмени они вместе бражничали и пакостили. При входе игумена в кабинет Хвостов, учитывая фактор психологии, треснул его в ухо.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он рухнувшего монаха.

— Откель знать-то, сударь? Я вот игумен, человек божий, и я шибко сумлеваюсь, чтобы меня при встрече бить надо было...

Хвостов напомнил монаху все его былые художества и пройдошества, спокойно добавив, что ссылает его на Сахалин:

— Тачечку покатаешь лет десять — станешь умным.

Мартемьян, упав на колени, целовал ноги министра.

— Отпустите меня. Ну, был грех... Рабом стану!

Хвостов выложил на стол тысячу пятьсот рублей и кинжал.

— Возьми себе... аванс. А этим ножиком зарежь мне Гришку на пароходе, когда будете плыть из Тюмени в Покровское.

К удивлению Хвостова, игумен алчно схватил «аванс» и забрал кинжал, причем вполне искренно (!) заверил министра, что и сам давненько подумывал, как бы сгубить Распутина. После этого Хвостов, уже в союзе с Мартемьяном, уговаривал Гришку, что хватит ему чревобесничать, пора навестить монастыри в Сибири, чтобы газеты отметили его молитвенные настроения. Распутин согласился на поездку, в которой его должны прирезать, но поставил условия:

— Чтобы губернатором в Тобольск назначили Ордовского, а то Станкевич зубы мне кажет. И еще пять тысчонок прошу.

Ордовский был его креатурой, отчего замысел Хвостова начал потрескивать, но министр уповал на Алексина с Мартемьяном, а просимые Распутиным пять тысяч рублей тут же выдал.

— Итак, договорились? Поедешь и помолишься.

— Ясно. Поеду и... помолюсь.

Но вскоре сообщил, что ему лень ехать, и Хвостов остался у разбитого корыта. По сути дела, министр страшно проиграл — из Тобольска смещен губернатор Станкевич, враг Распутина, а на его место посажен Ордовский, друг Распутина; Гришка просто так, за здорово живешь, хапнул из рептильного фонда восемь тысяч рублей. Но теперь, без опоры на Алексина, надо бояться и игумена Мартемьяна, который в любую минуту мог открыть Распутину планы Хвостова... Министр позвонил в Синод — обер-прокурору Волжину:

— Александр Николаич, мне очень нужно, чтобы игумен Мартемьян был с повышением переведен из Тюмени в другую европейскую епархию... Можете сделать это? Лично для меня. Прошу!

Волжин так удивился, что дал Мартемьяну архимандритство в Тверской епархии, и Хвостов еще раз подумал, что Гришка выиграл.

— А я проиграл! До чего же, кажется, легко угробить человека. А вот попробуй сковырни в могилу Гришку... черта с два!

Поразмыслив, он повидался с Белецким.

— Соберите мне досье на маклера и шулера Аарона Симановича, который не вылезает из квартиры Распутина.

— Слушаюсь. А... зачем он вам?

— Хочется знать, отчего нет такого уголовного дела, которое не могло бы решиться не в пользу Симановича. Отчего этот жид столь велик? Почему он вхож к министрам... знаете?

— Не знаю,— тихо сознался Белецкий.

— А ведется ли наблюдение за домом на Бассейной, где проживает эта дрыгалка из оперетты — Лерма-Орлова?

— Да.

— Что наблюдение дало?

— Штюрмер и Питирим... Питирим и Распутин...

— Понял. Можете не продолжать. Работайте!

Потом он залучил к себе генерала Комиссарова, аккуратной грудой сложил перед ним на столе сто тысяч рублей... Красиво!

— Это вам,— деньги он придвинул к жандарму.

— За что? — естественно, полюбопытствовал тот.

— Вам придется пожить в Европе... эмигрантом.

— Простите, не понимаю.

— Я тоже многого не понимаю в этой собачьей жизни,— вдался в лирику Хвостов.— Убейте мне Распутина, а потом удирайте.

— Но я ведь не наемный убийца,— фыркнул генерал.

— Здесь ровно сто тысяч. Проверьте.

— И проверять не стану. Зачем мне это?

— Вам, конечно, не нужно. Но это нужно мне.

— Так заколите борова сами.

— Не умею. Еще никого не резал.

— А я вам что? Профессиональный разбойник?

— Ну, все-таки... генерал жандармский. Крови не боитесь. Я вас очень прошу, голубчик! Поверьте, пройдет месячишко, и я сделаю все, чтобы вызволить вас из-за границы обратно домой.

Комиссаров резко отказался. Хвостов спрятал деньги.

— Понимаете,— сказал он,— я бы, конечно, поднатужась, и сам пришил Гришку в темном переулке, но... как-никак, я министр внутренних дел. Ежели попадусь по «мокрому» делу, что тогда станут писать в газетах Европы?

— А надо уметь не попадаться.

— Оно и так,— вздохнул Хвостов,— но сейчас я боюсь рисковать, ибо затеваю большое дело: выборы в 5-ю Государственную думу... Сейчас, как никогда, мне надобно иметь чистые руки!

Комиссаров тут же попросил отставки:

— Потому что я вижу — ваша возня с Гришкой добром не кончится, а я человек семейный, мне о детях подумать надо.

Хвостов отставки ему не дал:

— С кем же я останусь? С одним Стёпаном?..

Комиссаров понял, что надо уносить ноги, пока не отрезали голову. А потому он добыл отставку сам.

Подвыпив, нагрянул к Распутину, когда там сидели Вырубова и прочие паскудницы; генерал обложил их всех одним словом, которое издревле пишется на кривых заборах, и стал поджидать реакции Царского Села... Его взяли за шкирку и вышвырнули в Ростов-на-Дону — до свиданья!

Хвостов знал, что по «общественному сознанию надо бить не дубьем, а рублем...». Он так и заявил царице — откровенно:

— Ваше величество, слов нет, сам морщусь, но поймите меня правильно: выборы в пятую Думу возможны только подкупом... Не скрою от вас, что выборы депутатов будут фальсифицированы, но зато я обещаю обеспечить вам крайне правое большинство!

Он умел открывать сердца и кошельки. Царица заверила мужа: «Хвостов это устроит. Он удивительно умен,— не беда, что немного самоуверен, это не бросается в глаза,— он энергичный, преданный человек, который жаждет помочь тебе и твоему Отечеству». Срок полномочий нынешней 4-й Думы истекал осенью 1917 года, а о том, чтобы склеить благополучное будущее, монархисты тревожились заранее. «В ноябре семнадцатого,— обещал царице Хвостов,— я создам вам послушный общественный аппарат, могучий и патриотический...» О-о, если бы они знали, что будет в ноябре 1917 года! Но не ведали, что творят. И царь ассигновал на подготовку выборов колоссальную сумму в восемь миллионов рублей. Самое удивительное, что этих денег никто не видел. Как раз в 1917 году, когда Хвостов собирался обеспечить царице «крайне правое большинство», его таскали на допросы из камеры Петропавловской крепости и спрашивали:

— Кстати, а вот эти ассигнования, что были отпущены вам на кампанию по выборам в пятую Думу... Не могли бы вы, Алексей Николаевич, прояснить нам этот очень темный вопрос?

Хвостов ничего не прояснил. Отчаянно импровизируя, он правду о миллионах унес в могилу. В конце концов чего придираться? Дамочки, рестораны, рюмочки... Тут никаких миллионов не хватит! Но я иногда думаю: случись так, что революция грянула бы позже, тогда на какие шиши он проводил бы в стране выборы?

3. НАША МАША ПРИВЕЗЛА МИР

Декабрь был — сильные бураны заметывали трупы убитых, повиснувших еще с осени на витках колючей проволоки. В германских винтовках замерзала смазка. Немцы стаскивали в блиндажи живых коров, ночные горшки и даже рояли, надеясь зимовать прочно и уютно. Шестая армия Северо-Западного фронта в жестокие холода повела наступление в Прибалтике, чтобы выбить противника с подступов к Риге и Петрограду — в районах Шлока, Икскуль и Двинска[1]. В цепи латышских стрелков (будущих стражей революции) шагали в бушлатах, трепеща лентами бескозырок, матросы-штрафники — те самые ребята, которым через два года греметь на митингах и на артплощадках большевистских бронепоездов... А во французском посольстве тихо курились старомодные свечи. Морис Палеолог принимал одного из своих информаторов о делах в России, известного финансиста А. И. Путилова, который, служа мамоне, служил и Антанте; будучи неглупым пессимистом, он предрекал лишь мрачное:

— Война закончится, как последний акт в опере Мусоргского «Борис Годунов»... Помните? Царь теряет рассудок и умирает. Попы возносят к небу погребальные молитвы. Народ восстает. Появляется самозванец. Толпа вводит его в Кремль, а одинокий старик, юродивый, остается на пустынной сцене, провозглашая: «Плачь, святая Русь православная, плачь, ибо во мрак ты вступаешь...»

— А выход из этого каков?

— Выход — это выход из войны. Если мир с Германией опередит революцию,— тогда мы спасены, если нет — тогда погибнем. Надеюсь, что в Берлине тоже понимают это...

Звонок по телефону прервал их беседу.

— Господин посол,— сообщил Сазонов,— у меня есть кое-какие новости. Не навестите ли меня завтра?

В Германии царил не просто голод, а (по выражению Ленина) «блестяще организованный голод». Продуктовая карточка — вот ирония судьбы! — стала генеральной картой, на которой разыгрывалось поражение Германии... Немец получал на день двести граммов картофельного хлеба. Грудные младенцы ничего не получали, высасывая из груди матери последние капли посиневшего молока. Детям старше года выдавали по сто граммов хлеба. Гигиенисты пришли к выводу о реформации германской кухни. Яйца были отнесены к предметам роскоши — вроде бриллиантов, место которым на витринах ювелирных магазинов. Сливки сочли вредными для могучего тевтонского организма; рабочим рекомендовали употреблять «тощий» сыр (из снятого молока), богатый белками. Долой вредную привычку чистить картофель (теряется пятнадцать процентов веса)! Мужчины, забудьте о жестких воротничках и манжетах, ибо на изготовление крахмала расходуется картофель. Запретить до полной победы переклейку обоев в помещениях, ибо клейстер тоже делается из крахмала. Преступны хозяйки, часто стирающие белье (мыло готовится из жиров). Лаборатория профессора Эльцбахера выяснила, что ежедневно на каждого берлинца вылетает в трубу до двадцати граммов жиров. Это потому, что сало ополаскивается с тарелок и сковородок горячей водой. Не мешало бы отучить германца от дурной привычки — мыть посуду после еды... Экономика тесно сопряжена с политикой. Кайзеровское правительство понимало настроения Путиловых, в Берлине предугадывали тайные вожделения Романовых — выходом из войны избежать наступления революции! Вскоре Родзянко получил письмо, которое занес в Таврический дворец господин, пожелавший остаться неизвестным. На конверте не было марки, не было и штемпеля

[1] Нынешние Слока (курорт на Рижском взморье), станция Ишкалны (дачное место под Ригой) и город Даугавпилс, входивший до революции в состав Витебской губернии.

почтовых отправлений. Писано по-русски, но с такими оборотами речи, будто переводили с немецкого. Родзянку призывали способствовать заключению мира с Германией, и он отнес это загадочное письмо в здание у Певческого моста.

— Вот что я получил,— показал Сазонову.

Министр иностранных дел сделал попытку улыбнуться.

— Не вы один! Я имею точно такое же предложение. Всего распространено семь подобных посланий. Мало того, министр императорского двора Фредерикс получил письмо от графа Эйленбурга, с которым дружит целых тридцать лет. Эйленбург — обер-гофмаршал кайзера, и понятно, кто ему советовал писать Фредериксу. Эйленбург призывает наш двор к заключению мира.

— Выходит, немцам стало кисло? — спросил Родзянко.

— А нам разве сладко? — отвечал Сазонов...

2 декабря на фронте под Ригой был сильный мороз, в сиреневом рассвете медленно протекали к небу тонкие струйки дыма из немецких и русских землянок. Ленивая перестрелка заглохла сама собой. В линии передовых постов заметили, что с немецкой стороны, проваливаясь в снежные сугробы, идет в русскую сторону пожилая дама в богатой шубе и с пышной муфтой в руках, поверх шляпы ее голова была замотана косынкой... Это и была «наша Маша»!

Генерал М. Д. Бонч-Бруевич спешно телеграфировал в Ставку, что линию фронта перешла прибывшая из Австрии фрейлина Мария Александровна Васильчикова. «По ее словам, она имеет около Вены имение Глогниц, где и была задержана с начала войны... В случае если она не вернется, имение ее будет конфисковано». Царя в это время не было в Ставке, его замещал косоглазый Алексеев, который советовал Бонч-Бруевичу вещам Васильчиковой обыска не учинять. Кажется, что Ставка уже знала: «наша Маша» везет важные сообщения из Берлина! Николай II с сыном находился в пути на Южный фронт. Совершенно неожиданно у Алексея началось обильное кровотечение из носа, которое никак было не остановить. Матрос Деревенько держал мальчика на руках, профессор Федоров закладывал в нос ребенка тампоны, врач Нагорный следил за температурой — сильно повышенной. Наконец, у цесаревича было два глубоких обморока, все думали, что он уже умер... Николай II из Витебска телеграфировал жене, что возвращается в Царское Село; он писал, что и сам «несколько изумлен, зачем мы едем домой». Эту фразу трудно расшифровать. Но все-таки можно. В поезде находились лучшие врачи, и он ехал домой не потому, что у сына возник острый приступ гемофилии. Он ехал в столицу и не затем, чтобы повидать жену. Царя влекло в столицу, ибо там его поджидала Васильчикова с письмами! По указанию Алисы для «нашей Маши» забронировали комнаты в «Астории»; здесь она оказалась в полной изоляции — никто из общества не пожелал с нею видеться, так как Васильчикова, ради обладания имением в Австрии, изменила своей Отчизне. Но — тайно! — она съездила в Царское Село, где ее приняли очень радушно, и Алиса этот визит тщательно скрывала...

Палеолог явился в министерство у Певческого моста, и Сазонов поведал послу Франции о тайной миссии Васильчиковой:

— Она была и у меня — сразу же по приезде. Вручила мне нечто вроде ноты от имени Германии. Я высказал ей свое неудовольствие тем, что она, русская княжна старой фамилии, взяла на себя роль дипкурьера. Государь уже в Царском, Хвостов — тоже!

— Какова же роль Хвостова в этой ситуации?

— Он склонен обыскать и арестовать Васильчикову. Все зависит от того, сумеет ли он переломить настроения в Царском...

Палеологу пришлось собрать всю свою волю, дабы скрыть от Сазонова волнение: выйди Россия из войны, и Франция осталась бы почти один на один с германскою мощью. Пусть оборванный, с последним патроном в обойме, сытый одним сухарем в сутки, но этот русский солдат непобедим, выносив, упрям и настырен в атаках; без русского солдата Европа не мыслила себе победы над германской агрессией... Палеолог осторожно спросил — какой реакции следует ожидать от государя? Сазонов подумал:

— Трудно ответить. Но мы вас не оставим!

. . . . . .

Из окон «Астории» виднелась заснеженная Мариинская площадь, вздыбленный клодтовский конь под кирасиром Николаем I да мрачная храмина заброшенного германского посольства. Лакей из ресторана, элегантный француз (и явный осведомитель посла Палеолога) развернул перед Васильчиковой карточку меню, украшенную портретом мсье Тэрье, тогдашнего владельца гостиницы. Фрейлина надела очки, вчитываясь в гастрономическое изобилие столичной кухни.

— У вас есть и шампиньоны? — удивилась она.

— Какой вам угодно к ним соус?

— Нет, шампиньонов не нужно. Я хочу что-либо сугубо русское. Блины с икрой и творожники. А стерлядка у вас свежая?

— Еще вчера она резвилась в низовьях Волги.

— Быть того не может! Как же при строгих графиках движения воинских эшелонов вы успеваете доставлять свежую стерлядь?

— Это секрет фирмы нашей славной гостиницы.

— Тогда... уху. Расстегаи с рябчиком. А в Берлине газеты пишут, будто по улицам Санкт-Петербурга бродят толпы голодных зачумленных людей с флагами, на которых написано: «Хлеба!»

— Это нас не касается,— отвечал француз...

Он ушел, обещая вскоре вернуться с обедом. Васильчикова снова подошла к окну, разглядывая прохожих, вереницу лакированных колясок и автомобилей, катившихся, как и прежде, между сугробами... Послышался стук в дверь. «Прошу»,— отозвалась фрейлина. В номер вошли господа — непонятные, один из них сказал:

— Я министр внутренних дел Хвостов, а это мой товарищ Белецкий, мы прибыли, княжна, дабы испол-

нить одну неприятную для вас процедуру. Позвольте провести у вас обыск...

Белецкого он взял с собою по особому настоянию царя, и, зорко надзирая за агентами, потрошившими вещи княжны, Хвостов при этом мило беседовал с «нашей Машей», ловко строя вопросы.

— Говорят, вам дозволили из Берлина посетить гигантские лагеря для русских военнопленных... Не расскажете?

— Очень впечатлительная сцена! Наши пленные имели счастливый и сытый вид, все хорошо одеты, они просили меня передать самый горячий привет своему государю императору.

— А больше они вас ничего не просили передать?

— Н-ннет... н-ничего.

— А я слышал, что до них не доходят посылки Красного Креста; до англичан и французов доходят, а когда посылки идут из России, немцы тут же драконят их и сразу пожирают...

Васильчиковой пришлось сознаться, что немцы любезно провели ее на склад Красного Креста, до потолка заваленный посылками для пленных англичан и французов, а русские посылочки едва-едва занимали одну полочку. Фрейлина объяснила это тем, что по дороге из России продукты портятся, и немцы (удивительно гигиеничная нация!) подвергают их массовому уничтожению в крематориях.

— Ясно,— сказал Хвостов.— Мы, русские, до такой чистоплотности, конечно, еще не доросли и дорастем не скоро.

— Мне не понять вашей иронии, если это ирония.

— Какая уж тут ирония! — Хвостов спросил ее в упор, словно выстрелил в женщину: — Когда вы видели кайзера Вильгельма?

Васильчикова даже отшатнулась.

— Бог с вами! В чем вы меня подозреваете?

— В измене Отечеству.

— Мне вчера сам государь целовал руку...

— А позавчера руку вам целовал сам кайзер?

Белецкий шлепнул перед ним пачку пакетов. Ого! Письма самого германского императора, письмо к царю Франца-Иосифа, наконец, семейная переписка Эрни Гессенского со своей родной сестрой — русской царицей. Дверь открылась — вошел лакей с подносами.

— Обед,— сказал он.— Куда прикажете поставить?

— Вы обедайте,— посоветовал Хвостов женщине,— а вечером кормить вас ужином буду уже я...

— Что это значит, сударь?

— Как это ни прискорбно, вы арестованы.

— Я не буду обедать,— распорядилась Васильчикова.

— Унеси, братец,— сказал Белецкий лакею.

Хвостов подал княжне пышную шубу, из карманов которой уже было извлечено все, вплоть до носового платка, чтобы подвергнуть химической обработке — на случай шифрописи.

— Ваши перчатки. Прошу. Муфта. Сегодня холодно...

В автомобиле Васильчикова ему призналась:

— Я вам скажу честно: да, я видела кайзера, я имела беседу и с Францем-Иосифом... Там рассчитывали, что вас обрадует предложение мира. И, конечно, я могла думать что угодно, но только не то, что буду арестована в русской столице.

— Как жизнь в Германии?

— Германия стонет.

— А что наши пленные?

— Они говорят, что верховное командование погубило их, царь послал на убой, а цели войны для них неясны...

— Это уже точнее! — констатировал Хвостов.

Васильчикова сама виновата, что миссия ее закончилась ничем. Действуй она более конспиративно, опираясь только на царя и царицу, неизвестно еще, как бы повел себя тогда Николай II! Но Васильчикова действовала бестактно, бомбардируя письмами членов кабинета, писала, что во всем виновата «подлая англичанка», что немцы любят русских так же, как русские обожают немцев. Вслед за этим последовала мгновенная и бурная реакция союзных посольств... Васильчикову лишили звания фрейлины, и было объявлено, что она сослана. Ее заставили уехать в черниговские поместья своей сестры, графини Милорадович, где она продолжала сеять семена «сепаратности» и «пораженчества».

1915 год заканчивался. Фронт закутал морозный туман, мешавший боевым действиям. Распутин разлаял Вырубову за то, что та ничего не сказала ему о тумане. Царица писала мужу в Ставку: «Наш Друг все молится и думает о войне. Он говорит, чтоб мы Ему тотчас же говорили, как только случается что-нибудь особенное... говорит, что туманы больше не будут мешать». Скоро попало и верховному главнокомандующему — царю, который осмелился издать приказ о наступлении, не предварив о том Гришку Распутина.

— На што ж я молюсь за вас? — обиделся он.— Так, мама, дело не пойдет. Плохо ты за папашкой следишь... Спроси он меня, и я бы ему сказал, что наступать рано. А крови было уже много.

Мир вызревал в лоне страха перед революцией.

4. НАВЬИ ЧАРЫ

От сифилиса очень помогает «цветок черного лотоса» — это видно на примере Протопопова, который заболел еще в гвардейской юности, а сейчас ему уже сорок девять лет и до сих пор еще не помер. Правда, иногда он много плакал и нес явную чепуху, но на эти слабости старались не обращать внимания. Родзянко, отлично изучивший Протопопова, рассказывал: «У него была мания величия; он считал себя ясновидящим; он видел, что к нему приближается власть, что он может спасти царя и Россию. Он как закатит глаза — делается будто токующий глухарь и ничего больше не видит и не слышит...» При ненормальной экзальтации чувств Протопопов не был и помешанным, каким его иногда — по традиции! — принято представлять, и он часто проявлял разумное понимание серьезных вещей...

В это время те личности, которых Побирушка водил к себе на квартиру, обворовали князиньку так, что одни голые стенки остались. На этой почве (почве сострадания к ближнему своему) Протопопов сошелся с Побирушкой, а свел их Белецкий, обладавший удивительной способностью — создавать такие ситуации интриг, последствия которых трудно было предвидеть (даже самому Белецкому!).

— Вы мне нужны,— сказал Протопопов,— как один из могикан русской прессы. Издавать газеты — это, наверное, трудно?

— Страшно! — отвечал Побирушка.— Я издавал «Голос Руси», так половину газеты сам от руки строчил с утра до ночи.

— Не найти сотрудников?

— Капризные! — поморщился Побирушка.— Еще ничего не сочинил, а уже аванс требует. Аванс пропьет и ничего не напишет.

— Я тоже стану издавать газету. Хочу привлечь лучшие литературные силы — от Плеханова до Короленко, от Горького до Потапенко, от Бунина до Тэффи, от Дорошевича до Аверченко.

— Все разбегутся,— напророчил Побирушка и снова заговорил, какие подлые люди пошли на Руси.— Я их к себе как порядочных позвал ночевать, а они... даже стулья вынесли!

— А вы бы — в полицию,— посоветовал Протопопов.

— Да обращался... А в полиции, знаете, как? Если не прописаны, значит, и спрос короткий. Что ж я, спрашивается, каждого молодого человека пропи-сывать у себя буду? Мне тогда не только квартиры — целого квартала домов не хватит...

Протопопов верил в некие «навьи чары», управляющие людскими судьбами. Незадолго перед войной он узнал из газет, что в «Гранд-отеле» поселился заезжий хиромант Карл Перрен, берущий за один сеанс «магнетической концентрации» двести рубликов. Протопопов пошел! Его встретил дородный еврей, говоривший только по-немецки, но выдававший себя за гражданина США. Он сразу же схватил Протопопова за руку, через линзу глянул на извилины линий.

— У вас будет репутация не только национальная, но даже международная. Больше ничего не скажу. Страшно! Но вижу, что ваша кровь несвободно переливается по артериям.

— Что же мне делать? — приуныл Протопопов.

— Сильная астральная концентрация сама сделает все за вас! А вы должны лишь повиноваться судьбе... Влюблены!

— Безнадежно.

— Замужняя дама?

— О да!

— Кто ее муж?

— Царь.

— Так и надо! — воскликнул Перрен.— Вы проходите под знаком Венеры, затмевающей свет Юпитера... В политической карьере следуйте лишь первому импульсу, который у вас всегда верен!

В 1915 году Перрен снова появился в Петрограде.

— Вам предстоит функциональный взлет! Больше ничего не скажу. Но под вашим правлением возникнет новая, могущественная держава — счастливая и открыто дерзающая. Но... не ждите роз!

Перрен был зачислен в «7-й контрольный список», в который заносили всех подозреваемых в шпионаже, на основании чего его выслали в Швецию, а вслед за тем Протопопов был избран в товарищи к Родзянке. Взлет, о котором накаркал Перрен, состоялся, и Александр Дмитриевич с особой силой уверовал в «навьи чары» той предопределенности судьбы, которая отольет его немощь в бронзу и водрузит для России нового Протопопова — на брусчатке Красной площади в Москве (напротив Минина и князя Пожарского). С сознанием своего будущего величия он потащился к Бадмаеву, чтобы подлечить застарелый сифилис.

— Опять «черный лотос»? — спросил с надеждой.

— Сегодня габырь,— отвечал Бадмаев.

В клинике посиживал неприкаянный Курлов, кляня свою судьбу, которая издевалась над ним: даст власть и тут же отнимет.

— Паша,— сказал ему Протопопов,— когда я взлечу высоко, я сделаю тебя своим главным заместителем.

Курлов с усмешкой глянул и ответил дружески:

— Слушай, Сашка, когда ты у меня поумнеешь?..

Между прочим, Протопопов узнавал от Родзянки все, с чем он идет на доклад к царю, и сообщал об этом Степану Белецкому!

. . . .

Штюрмер в «навьи чары» не верил. Он верил в чары Гришки Распутина и его любовницы — фрейлины Лидии Никитиной, дочери коменданта Петропавловской крепости. С портретов тех времен на меня глядит стройная молодая стерва в благородном костюме сестры милосердия. Конечно, средь петербуржцев не было любителей совершать моцион внутри Петропавловской крепости, и потому ночные набеги Штюрмера на русскую Бастилию, где жила фрейлина Никитина, были мало кем замечены. Между ними установились удивительно прочные отношения, и только возраст Штюрмера не позволял думать, что их отношения были интимными.

Чего они хотели — старый бес и молодая чертовка?

По ночам в крепость приезжал и сам Распутин, обутый в высокие валенки сибирского крестьянина, он пил комендантский чай, истреблял сухари и баранки. Никитина была посредницей между ним и Штюрмером, а где-то в потемках зимней ночи вращались шестеренки машины, которую двигали Питирим и Манасевич-Мануйлов... Каша! Штюрмер, набивая себе цену, не забывал напомнить Гришке, что его руки в бархатных перчатках, но они железные: задушат любого! На деле он был вроде футляра, в котором затаился дремотный обыватель, жаждущий на старости лет выгод и почестей. Именно здесь, в каменной цитадели великороссийского мученичества, Распутин строго-настрого нашпынял Штюрмера:

— Гляди, старикашка! Чтоб без меня не прыгать...

По-иезуитски расчетливо и подло Штюрмер зачастил в гости к старикам Горемыкиным, чтобы у премьера не возникло никаких подозрений. Там он обмасливал любезностями старую мадам Горемыкину, подавал ночные тапочки старику премьеру и вообще был «друг семьи». От Горемыкиных Штюрмер ехал на Бассейную — к актрисе Лерме-Орловой, где обмусоливал будущее России с Осипенкой, который от величия раздулся, как пузырь, и брал уже не меньше чем тысячу рублей. К этому хочу прибавить, что фрейлина Никитина часто бывала на Конюшенной, в доме Штюрмера, и там женщина рылась в его бумагах, делая из них выписки, что-то сличала и куда-то все передавала... Куда? Можно только догадываться, что она следила за деятельностью Манасевича-Мануйлова... Зачем? А сам Манасевич как агент Белецкого следил за фрейлиной Никитиной... С какой целью? Распутин стоял на страже Лидочки Никитиной, а Манасевич был охраняем самой Вырубовой, в доверие к которой вошел прочно, и это было не очень-то приятно Распутину, тем более что Ванечка отчего-то побаивался Никитиной... На даче Вырубовой в Царском Селе однажды случайно столкнулись Степан Белецкий и Никитина; при этом они оба испытали страшную неловкость... Отчего? В запутанном клубке прибавились еще две подозрительные нити. Но мертвые молчат, и мы никогда не узнаем хитроумной подоплеки тех «навьих чар», под влиянием которых находились эти люди и людишки, решавшие судьбы России вкривь и вкось, как им хотелось бы...

«Навьи чары» мадам Сухомлиновой уже ни на кого не действовали в той мере, в какой они были испепеляющи в ту пору, когда она звалась штучкой или госпожой министершей. Что делать? Так всегда: пока мы счастливы и богаты, не знаешь, куда гостей рассадить, а стоит хрустнуть судьбе — калачом не заманишь. Екатерина Викторовна стойко и мужественно трудилась на санитарном складе, который оборудовала в своей квартире. Ее попрежнему окружали дамы-доброволицы, и экс-министерше не раз приходилось платить фоторепортерам, чтобы снимками в газетах напомнить русскому читателю о своем бодром существовании... Да! Пусть знают все — девиз ее жизни прежний: «Все для фронта, все для победы!» Эти снимки поучительны для истории: в обществе петербургских дам, занятых работой, Екатерина Викторовна (скромная белая блузочка, длинная черная юбка) всегда занимает центральное место, вроде генерала в штабе... Иногда в мастерскую по обслуживанию госпиталей бинтами и ватой спускался в короткой тужурке сильно поблекший муженек, надтреснуто провозглашая:

— Побольше допинга, мои дамы! Вижу, что работа у вас кипит и... до победы недалеко.

А комиссия по расследованию преступной халатности Сухомлинова работала, росли горы бухгалтерских отчетов и доносов. Показания против Сухомлинова (самые оскорбительные для него) дала Червинская, знавшая всю подноготную министра как родственница его жены. Беспощадно топил бывшего министра и Побирушка...

Сухомлинов как-то сказал супруге:

— Вот, Катенька, учись видеть жизнь без розовых очков. Господин Манташев — друг нашей семьи, а... где он теперь?

Екатерина Викторовна промолчала; за последнее время молодая женщина раздалась вширь, узкая юбка мешала при ходьбе, прошлогодние блузки стали уже тесны для располневшей груди.

— Скажи,— резко спросила она,— ты как рыцарь способен сделать что-либо, чтобы мое имя не трепали рядом с твоим?

— Мне это больно, поверь. Но мы, Катенька, сами и виноваты, что все эти годы вокруг нас кружилась разная мошкара...

Следствие подходило к концу, и Сухомлинову становилось страшно при мысли, что его могут лишить права ношения мундира.

— Столько лет служил... Неужто все прахом?

— Но ведь от того, что ты плачешь, ничто не исправится, — внушала жена. — Надобно изыскивать способы.

— Какие?

— Ах, боже мой! Сними трубку телефона и скажи: «Григорий Ефимыч, здравствуйте, это я — генерал от кавалерии Сухомлинов!»

— Нет, нет, нет,— торопливо отказался старик.— За все время службы я всячески избегал общения с этой мразью.

— Неужели Побирушка или Червинская не мразь? Однако ты сидел с ними за одним столом. А чем Распутин хуже их?

— Я не могу, — покраснев, отвечал муж.

— Не можешь? Ну, так я смогу...

Твердым голосом она назвала барышне номер распутинского телефона — 646-46 (видно, узнала его заранее). На другом конце провода трубку снял сам Распутин.

— Ну? — спросил сонным голосом.— Чево надо-то?

— Григорий Ефимович, здравствуйте,— сказала Екатерина Викторовна, — это я, госпожа Сухомлинова... министерша.

Распутин долго-долго молчал, ошарашенный.

— Вот вить как бывает! Ране-то, покеда муженек твой в министерах бегал, ты от меня нос воротила на сторону. Конечно, я тебе не дурак Манташев, тряпок не стал бы тебе покупать. Гордые вы!

В гостиную от телефона она вернулась плачущей.

— Катенька, он тебя оскорбил, этот изверг?

— Хуже — он повесил трубку...

Сухомлинов искренно страдал, качаясь над столом.

— Какой позор... до чего я дожил!

Но это еще не позор. Весь позор впереди. Под лампою абажура жирно лоснилась его гладкая большая голова.

5. МОИ ЛЮБИМЫЕ ДОХЛЫЕ КОШКИ

Распутин, скучая, завел граммофон и, поставив на круг пластинку с бразильским танго, задумчиво расчесывал бороду. Под жгучие всплески нездешней музыки отворилась дверь в его спальню — на пороге стояла... мадам Сухомлинова. Я бы ее сейчас не узнал. Она была в блеске красоты и женского здоровья. Оделась с вызывающим шиком. Напялила все лучшее, что нашла в гардеробе. Подвела брови... Распутин в полной мере оценил ее женскую храбрость.

— Чего ты хочешь? — спросил без приветствия.

— Избавьте мужа... от позора.

За шесть лет правления военным министерством Сухомлинов получил от казны жалованья двести семьдесят тысяч рублей, а сейчас в банке на его имя лежали семьсот две тысячи двести тридцать семь рублей. Откуда они взялись — в этом Сухомлинов не мог дать отчета следователям, ссылаясь на свою бережливость. Распутин обещал Екатерине Викторовне разобраться в «фунансах» ее мужа. Но со своей протекцией не спешил по той причине, что он... влюбился. Историкам известно его признание: «Только две бабы в мире украли мое сердце — это Вырубова и Сухомлинова».

— Задела ты меня, задела, — говорил он Сухомлиновой, сам себе удивляясь. Распутин и любовь — вещи несовместимые, но случилось невероятное: весь конец его жизни прошел под знаком любви к Сухомлиновой, которую он не скрывал от людей, откровенно трепался по городу: — Хороша бабенка была у военного старикашки.

В один из визитов к Распутину женщина случайно — через раскрытую дверь — увидела, что здесь же отирается и Побирушка.

— Григорий, — сказала Сухомлинова с содроганием, — как же ты, знаток людских душ, можешь пускать в свой дом Побирушку? Это же сущий Каин... Он тебя предаст, как и нас предал. Такой негодяй способен даже яду подсыпать!

. . . . . .

Хвостов никак не ожидал, что Белецкий его спросит:

— А каково происхождение тех двухсот тысяч рублей, что вы предлагали Комиссарову за убийство Распутина?

Стало ясно, что Комиссаров (перед отбытием в Ростов) проболтался о делах министра. Хвостов даже смутился:

— Не двести я давал, а только сто тысяч.

— Это все равно. Сумма где-либо заприходована?

Степан хватал его за глотку. Хвостов вывернулся.

— Товарищ министра — товарищ министру, но министр — не товарищ товарищу министра... Удовлетворитесь пока этим!

Теперь уже не Белецкий, а я (автор!) ставлю вопрос — откуда он черпал деньги? Может, транжирил ассигнования, отпущенные на предвыборную кампанию осени 1917 года? Впрочем, к его услугам была распахнута гигантская мошна — личный кошелек княгини Зины Юсуповой графини Сумароковой-Эльстон, богатства которой неисчерпаемы. Хвостов уже вошел в конфиденцию с этой женщиной, умной и очаровательной; его планы встретили в Москве поддержку тамошней аристократии. Сразу не ответив на вопрос Белецкого, Алексей Николаевич придумал ответ чуть позже:

— Я держу в провинции большое свиноматочное хозяйство. Отсюда и те денежки, что я предлагал Комиссарову...

Белецкий, будь он на месте Хвостова, наверное, тоже пытался бы придавить Гришку в кривом переулке. Но сейчас все силы мрачной, уязвленной честолюбием души Степан направлял исключительно на то, чтобы спихнуть Хвостова и самому занять его кресло. А в такой ситуации Распутин, несомненно, был ему *очень нужен,* — товарищ министра оберегал Распутина от покушений министра!

Хвостов, кажется, так и не раскусил до конца, какая обильная власть была вручена ему — он скользил по поверхности, тиранствуя даже с юмором, словно МВД — это забавная игрушка. Играл он Нижегородской губернией, теперь баловался министерством... Зато Белецкий знал полноту власти во всем ее беспредельном объеме и эту власть всегда использовал в своих целях... Исподтишка он, между прочим, собрал все антисемитские высказывания Хвостова в одну папочку и передал ее Симановичу. Тот принял с большой благодарностью и спросил — что нужно? «Сами знаете, чего хочет товарищ министра... чтобы у него был товарищ министра!» Симанович обещал, что вся распутинская машина, смазанная деньгами, будет работать для возвышения Белецкого, а досье на антисемитизм Хвостова подбросили в Думу, где оно попало в руки Керенского, и в печати вокруг имени Хвостова возник если не шум, то во всяком случае неприятный для него шумок... Тут и Комиссаров проболтался некстати! Теперь Хвостову ничего не оставалось, кроме вовлечения Белецкого в свои криминальные планы.

— Подготовьте мне схему ликвидации Распутина...

Белецкий, затягивая время, накидал ему на стол сразу несколько вариантов убийства — один другого романтичнее.

— Но мы же не в карты играем — давайте яд! Вы же знаете, что я хочу спасти Россию от этого грязного мужика... Надо делать это скорее, пока сидим на чердаке, а пожар бушует еще в подвалах!

Тут надо остановиться, читатель. Не Россию хотел он спасать от Распутина, а в первую очередь *спасал сам себя* от распутинщины. Хвостов сознавал: пока Гришка стоит у кормила власти, он, Хвостов, будет напрасно цепляться за штурвал управления страной — штурвал выбьют из его рук... Белецкий, утомленный, сказал:

— Вы не верите мне? Хорошо, я вам докажу... У меня в Саратове есть знакомый провизор. Через него я достану сильный яд. Гришку мы отравим, насыпав яду в бутылки с его любимой мадерой.

Хвостов проявлял страшное нетерпение (и это закономерно, ибо Штюрмер ползал уже где-то по верхушкам власти, удобряя их):

— Но почему в Саратов, черт побери! Неужели мы, всемогущие чиновники эм-вэ-дэ, не можем достать циана в столице?

— Нельзя здесь! Вызовет подозрения...

Вскоре он доложил, что яд прибыл. Хвостов спросил:

— А как вы мыслите забабахать его в бутылки?

— Распутин получает мадеру от евреев, с которыми снюхался. Я решил отравить мадеру от Митьки Рубинштейна... Заодно уж я испорчу биографию этому банкиру, которого терпеть не могу!

— Я тоже. Работайте,— воодушевил его министр.

Но через день Белецкий сказал:

— Нельзя травить мадеру от Митьки! Распутин, получив ящик с вином, наверняка позвонит Митьке по телефону, чтобы поблагодарить за подношение. А тот скажет: «Какая мадера? Я не посылал...» — и наш отличный план сразу же рухнет.

— Так что вы предлагаете? Пусть Гришка живет?

— Я сам, — отвечал Белецкий, — подсыплю ему яду...

Далее он живописал, что на кухне МВД давно крутится приблудный кот-бродяга, и он сегодня дал коту яд, а этот кот страшно вертелся, помирая, и Хвостов был очень доволен рассказом.

— Вот и Гришка... завертится, как этот кот.

Белецкий позже показал: «Свидания наши с Распутиным на конспиративной квартире продолжались, но А. Н. Хвостов начал часто уходить в соседнюю комнату под видом отдыха, прося меня говорить с Распутиным по поводу его кандидатуры на пост председателя Совета (Министров), с сохранением портфеля МВД, и в целях проверки меня настолько подозрительно громко храпел, что Распутин заметил притворство А. Н. Хвостова, и мне на это он указал...» Волк волку — не товарищ, но волки всегда живут среди волков!

. . . . . .

В канун покушения Белецкий спрашивал Хвостова:

— Может, подождем с отравлением Гришки? Пусть он сначала проведет вас в премьеры, а тогда уж мы его закопаем поглубже.

Хвостов отвечал страстно:

— Сначала труп, а потом премьерство!

Белецкий сам принес мадеру на Гороховую. «Сегодня угощаю я»,— сказал он Распутину; здесь уже сидел Побирушка, участвуя в общем разговоре. Хвостов был бы очень доволен, если бы увидел, как его «товарищ» налил Распутину полную рюмку отравленного вина. Но Хвостов был бы немало удивлен, когда Белецкий того же самого винца налил и... Побирушке. Наконец, Хвостов на стенку бы полез, если бы увидел, что Белецкий плеснул вина с ядом и... себе!

— Ваше здоровье, господа, — сказал Степан.

Дружно выпили. Распутин оживился:

— А мадера — первый сорт. Где взял?

Побирушка при этом прочел Гришке лекцию на тему, как делают мадеру на острове Мадера, после чего «отравились» вторично.

— Ну, мне надо идти, — заторопился Белецкий.

— Да посиди,— уговаривал Распутин.

— Некогда. И жена жалуется, что дома не бываю...

В прихожей, где стояли миски для кормления распутинских кошек, Белецкий насыпал в молоко порошок белого цвета (кажется, это был фенацетин). Побирушка вскоре тоже покинул Распутина, который в одиночестве употребил шесть бутылок мадеры, отравленной, по мнению Хвостова, цианистым калием.

Кончилось все это ужасно — вбежала Нюрка.

— Дядь Гриша, гляди-кось, кошки у нас не ворочаются.

— Как не ворочаются? Кис-кис-кис, — позвал он.

— Полакали молочка и легли себе...

Распутин с матюгами брал дохлых кошек за хвосты, рядком укладывал их на диване — черных, белых, рыжих и серых.

— Мои любимые кисаньки. Отыгрались вы, родима-аи...

О кошачьей погибели он оповестил Сухомлинову.

— А кто у тебя был сегодня? — спросила она.

— Да все порядочные люди! Белецкий — так не станет же он травить моих кисок, на што ему? Ну, и Побирушка был.

— Вот он и отравил, — сказала Сухомлинова.

— Да какая ему выгода с дохлых кошек?

— Ах, Григорий, как ты не понимаешь! Этот негодяй принес яд, чтобы подсыпать тебе. Но присутствие Белецкого помешало ему свершить гнусное злодейство, и тогда он решил отравить кошек, зная, какую глубокую сердечную рану это тебе нанесет...

Логично! Распутин с плачем звонил Вырубовой.

— Побирушка, гад, кисок сгубил. Ну, держись...

Ночью Побирушка был арестован... Белецким!

— По указу ея императорского величества, — объявил он, — вы, князь Андронников, ссылаетесь из Петрограда в Рязань.

— А за что? — обалдел тот, ничего не понимая...

Колеса закрутились — поехал! Таким образом, Побирушке на себе довелось испытать, что значит в чужом пиру похмелье. В семнадцатом году он дал чистосердечные показания: «Меня особенно возмущало, что меня приплели в эту историю, будто я отправил на тот свет распутинских кошек...» Подлаживаясь под характер революции, Побирушка уверял судей, что является всего-навсего «жертвой гнусного режима угнетения малых народностей» (он был гибрид от связи потомка кахетинских царей с курляндско-немецкой баронессой).

. . . . . .

Хвостов, свирепея, спустился в подвалы обширной кухни МВД.

— Говорят, у вас кот недавно помер? — спросил министр.

— Кис-кис-кис,— позвал мальчишка-мясорез.

Хвостову предъявили кота — ершистого, желтоглазого.

— И давно он у вас на кухне?

— Почитай, с прошлой осени. Как приблудился, так и не выжить. А зовут его превосходительство — Ерофеич!

— Сволочь, — сказал Хвостов.

— Это верно. Стоит отвернуться, так обязательно печенку сдует — и поминай как звали...

Хвостов повернул на выход из кухни.

— Я не о коте — я об одном своем товарище!

6. АХТУНГ — ШТЮРМЕР!

Питирим влезал в политику, как вор-домушник влезает в чужое жилище через чердачное окошко. Он явился на квартиру Родзянки.

— Почтеннейший старец Горемыкин, — сказал он, — протянет недолго. Я думаю, место его займет... Штюрмер.

— Тоже почтеннейший? — съязвил Родзянко.

В обществе упорно держались слухи, что Горемыкин, уже «набивший руку на закрывании Думы», желает нанести парламенту последний, решающий удар. Этот вопрос — быть Думе или не быть? — волновал умы и союзных послов. «Надо было, — писал Родзянко, — придумать что-либо, чтобы рассеять эти слухи, поднять настроение в стране и успокоить общество. Необходимо было, как я считал, *убедить государя посетить Думу...*»

— Одного старца,— ворчал Родзянко,— заменяют другим. Горемыкин хоть был русский дворянин, а Штюрмер таскает такую фамилию, которая невольно оскорбляет слух каждого россиянина.

Питирим быстро сказал:

— Фамилия — ерунда! Штюрмера сделают Паниным.

— Опять нелепость. Саблер стал Десятовским, Ирман — Ирмановым, Гурлянд — Гурьевым... Кого хотят обмануть? А вы, — закончил Родзянко, — ставленник грязного Гришки Распутина и ведете нечистую игру... Я не желаю вас видеть. Уходите прочь, владыка!

. . . . . .

Хвостов говорил: «Штюрмер пришел (к власти) с фирмой определенной и ясной. Мне хотелось, кроме фирмы, каких-либо доказательств принадлежности его к немецкой или иудейской партии... Прежде, говорят, он был вхож к немецкому послу!» Штюрмер создал в обществе легенду, будто его дед был австрийским комиссаром на острове Святой Елены во время пребывания там Наполеона; согласно второй легенде, которую он тоже поддерживал, его происхождение шло от канонизированной в православии Анны Кашинской, — ахинея, какую трудно придумать. Но в синагогах хорошо знали подлинную родословную Штюрмера... Образовался мощный толкач, подпиравший Штюрмера, чтобы он не падал: от Распутина до царицы, от сионистского кагала до православного Синода! Многим уже тогда было ясно, что Штюрмер станет только премьером, но управлять делами будет Манасевич-Мануйлов. Союзные посольства Антанты спешно собирали материалы о Штюрмере, заодно подшивались дела и на «русского Рокамболя». Впрочем, посольство Франции уже давно имело Ванечку в числе своих тайных осведомителей. Ванечка для Палеолога был даже интересен, как «странная смесь Панурга, Жюль Блаза, Казановы, Робера Макэра и Видока, а вообще — милейший человек!».

Сегодня заявился он — осанист и напомажен.

— Чего может ожидать страна со ставосьмидесятимиллионным населением от правления Штюрмера? — спросил его посол.

— Трудно сказать что-либо определенное, но Штюрмер мечтает воскресить славные времена Нессельроде и Горчакова.

— Этих имен, — отвечал Палеолог, — никогда нельзя объединять. Они как противоположные полюса. Нессельроде шел на поводу венского кабинета Меттерниха, а князь Горчаков, разрушив систему Нессельроде, подготовил Россию к союзу с Францией...

— Существует немало способов оставить глубокий след в истории, — невозмутимо высказал Ванечка. — Нужно ли говорить, как этого желаю я? Поверьте, Россия сейчас на правильном пути.

Конечно, во французском посольстве Манасевич умолчал о том, что Штюрмер — вор и жулик. Но жулик проснулся в нем самом, когда он, глянув на часы, стал прощаться с графом Палеологом.

— На всякий случай запомните — если вам что-либо понадобится, обращайтесь ко мне, а мне Штюрмер ни в чем не откажет...

Палеолог записал: «Долго не забуду выражение его глаз в эту минуту, его взгляда, увертливого и жестокого, циничного и хитрого. Я видел перед собой олицетворение всей мерзости охранного отделения». Палеолог попросил секретаря принести из архивов секретное досье на того же Ванечку. Там была отражена одна слишком интимная деталь его биографии: в 1905 году он — выкрест! — был одним из устроителей еврейских погромов в Киеве и Одессе...

Палеолог не мог при этом не рассмеяться:

— А вообще — милейший человек! С ним забавно...

. . . . . .

Горемыкину исполнилось 87 лет, Штюрмеру — уже 67, а Хвостову стукнуло 43 годочка, отчего в Царском Селе его сочли слишком «молоденьким»; премьерства он не получит, а Штюрмер, выпестованный в канцеляриях Плеве, отлично сознавал всеобъемлющую силу аппарата МВД, и вряд ли он удовольствуется одним только премьерством («Нет,— размышлял Степан Белецкий,— наложит он лапу на портфель Хвостова...»).

Белецкий осторожненько переговорил с Ванечкой:

— Как ты думаешь, кто свернет шею раньше?

— Штюрмер тих и въедлив, а Хвостов — трепач. Передай Борису Владимировичу, что я буду информировать его о делах... Хвостова.

Ванечка сообщил Белецкому, что Питирим на днях выезжает в Ставку — везет речь, которую и произнесет царю, о том, что лучше Штюрмера еще не бывало человека на свете. Белецкий распорядился, чтобы для Питирима дали отдельный вагон, назначил жандармов для сопровождения владыки. Через несколько дней Манасевич-Мануйлов известил его по телефону:

— Все в порядке! Смена премьера произойдет по возвращении государя из Ставки в Царское Село...

Белецкий поехал на Моховую — к Горемыкиным, чтобы пронюхать обстановку, и Горемыкин сказал, что недавно видел государя:

— И он меня так лобызал, так он меня лобызал...

Ну, если царь кого лобызал, тому — крышка!

. . . . . .

«Мой родной, — писала царица мужу, — опять тепло и идет снег. Сегодня именины нашего Друга. Я рада, что благодаря принятым мерам все в Москве и Петро-

граде прошло спокойно и забастовщики вели себя прилично (здесь она намекала мужу на кровавый «юбилей 9 января»). Слава богу, видна разница между Белецким и Джунковским...» Николай II заранее предупредил ее, что назначение Штюрмера произведет в стране впечатление «громового удара». Она утешала его, что поболтают, а потом привыкнут к немецкой фамилии. Распутин вообще был против изменения «Штюрмера» на «Панина»:

— Что брито, что стрижено — какая разница? А старикашка ничего. Мы с ним поцеловались... Он даже заплакал.

На радостях, что все так хорошо, Распутин принес со своего стола бутылку мадеры. Из кармана затхлых штанов он извлек сильно измятый ландыш и сунул его в руку императрицы.

— Вот, понюхай...— К ландышу он приложил корку черствого хлеба.— А это — папашке! Перешли с мадерцей и корочку, чтобы закусил, когда выпьет. Я энти предметы благословил...

С выражением восторженного благолепия Алиса и Вырубова приложились к бутылке, сделав из нее по глоточку, будто это святое причастие. Царица захлопнула бутыль пробкой: срочно — в Ставку! «...Вылей в стакан, — наказывала она мужу, — и выпей разом за Его здоровье. Ландыш и корочка также от Него, мой милый ангел. Говорят, у Него перебывала масса народу, и Он был прекрасен». Телеграф Ставки отстучал решительный и мужественный ответ самодержца: «Я выпил вино прямо из бутылки за Его здоровье и благополучие. Выпил все — до последней капли». Штюрмер заступил на пост премьера 20 января 1916 года. Белецкий не ошибся в своих догадках — Штюрмер сразу вызвал Степана к себе, обласкал, как мог, и просил держать его в курсе относительно всех дел «хвостовщины».

— Хвостов слишком молод... мальчишка! Кстати, — спросил он, — а сколько вы дали *вступных* Распутину и Осипенке?

Белецкий сознался: Гришке побольше, Осипенке поменьше.

— Дайте им от моего имени еще по две тысячи! («Ой как жидко для них»,— подумал Степан.) А теперь я хотел бы сделать что-либо приятное моему другу и сподвижнику Манасевичу-Мануйлову. Это такой удивительный человек, что от денег отказывается...

— ?

— Да, — разливался Штюрмер, — Манасевич вместо денег желал бы ведать моей премьерской канцелярией...

Ванечка уже полностью покорил Осипенко своим апломбом и знанием парижской кухни, а Питирим, угождая капризам своей «жены», даже не подозревал, что отныне исполняет волю Манасевича. Одной канцелярии Штюрмера ему показалось мало — он смело вторгся в дела Распутина, решив придать им некоторый оттенок государственности. На Гороховой появились аксессуары бюрократизма — пишущая машинка и кудрявая машинистка. Сунув отогнутый палец в кармашек жилета, Ванечка с важным видом статс-секретаря империи диктовал бумаги, угодные Штюрмеру и Питириму (точнее — самому Ванечке!), после чего тексты попадали в спальню Распутина, в верху каждой бумаги Гришка ставил знак «+». Он называл это «крестом Иисусовым», а Ванечка, как материалист, именовал «плюсом». Проплюсованные бумаги Нюрка тащила в автомобиль, который доставлял их в Царское Село, оттуда курьеры везли их дальше — в Ставку...

Распутину канцелярщина пришлась по вкусу.

— Мусолиться не надо. Крест поставил — и гуляй себе...

В один из дней Ванечка конфиденциально сообщил Белецкому, что «Штюрмер не считает А. Н. Хвостова отвечающим занимаемому им положению министра и с каждым днем убеждается в необходимости... сосредоточить, по примеру Столыпина, в своих руках и власть министра внутренних дел». Теперь Белецкому, чтобы добыть престол министра, надо валить в могилу не только Хвостова, но и... Штюрмера? «Сын народа» уже сточил себе зубы, яростно подгрызая ножки кресла, в котором нежился его тучный визирь... Сейчас, как никогда, Белецкому был нужен крупный просчет Хвостова!

. . . . . .

Горемыкин исправно демонстрировал свое геройское равнодушие к делам на фронте. «Война меня не касается», — всюду вещал он... Штюрмер, напротив, из кожи лез вон, дабы убедить окружающих, как ему близки страдания воюющей Родины. На военных совещаниях он, словно гимназист на уроке, тянул руку: «Позвольте и мне высказать свое мнение?» Поливанов с презрением разрешал: «Пожалуйста! Один ум хорошо, а полтора еще лучше...» Штюрмер был явный германофил (не вынужденный, как Дурново, а убежденный, как Витте), о чем в Берлине хорошо знали. Возвышение его кайзер расценил правильно — как предлог для переговоров о мире[1].

Первое, что сделал Штюрмер, заняв высокий пост, это... посеял секретные коды, а потом долго скрывал их пропажу. Факт ужасающий — русская армия, русский флот и русская дипломатия продолжали пользоваться шифрами, местонахождение которых было неизвестно. Потом Штюрмер начал перепахивать завалы бумаг на своем рабочем столе. «Помню, коды вот тут лежали... Лидочка, ты не брала их?» Никитина с возмущением отвернулась. Я не поручусь за Штюрмера, не поручусь и за эту даму с накрашенными губами. Как бы то ни было, а дело спроворено. Кем — не знаю! А смена кодов даже в мирное время обходится государству в бешеные суммы...

После истории с отравлением кошек Хвостов уже не доверялся Белецкому, решил действовать без него и вспомнил:

— Боже праведный, а ведь я совсем забыл об Илиодоре! — Он вызвал в кабинет секретаря Яблонского. — Мне нужен заграничный адрес Сергея Труфанова и... Борька Ржевский.

Разговор прервал телефонный звонок от Штюрмера:

---

[1] Кронпринц Генрих Прусский писал: «Благоприятная минута для заключения мира с Россией представлялась в конце лета 1915 г. Царь как раз назначит тогда Штюрмера... В этом назначении неоспоримый признак желания начать переговоры с нами о мире». Мемуары германского кронпринца. ГИЗ, 1923, с. 131.

— Передаю вам, Алексей Николаич, волю ея величества — отныне Распутина следует охранять как высочайшую особу...

В ближайшее свидание с министром царица напомнила ему, что Распутина следует беречь «как особу императорской фамилии». Желтые рысьи глазки Хвостова блеснули юмором.

— Конечно! — сказал он. — Но прошу ваше императорское величество выдать мне указание об этом в письменном виде...

Алиса фыркнула, но такой «справки» ему не дала!

7. ХВОСТ В КАПКАНЕ

Серега Труфанов, бывший Илиодор, на птичьих правах проживал в норвежской Христиании (в нынешнем Осло). Сейчас он был озабочен изданием своих мемуаров. По сути дела, Труфанов создал книгу не пером — привычно взял квач, окунул его в деготь и вымазал похабную рожу Распутина, не пощадив при этом и царя с царицей. Надежд на возвращение в Россию не было, а для оседлой жизни за границей нужно продать мемуары как можно выгоднее... Его навестил заокеанский издатель журнала «American Magazine», который недавно купил у Илиодора для публикации интимные письма императрицы.

— Сколько вы хотите за вашу книгу? — спросил он.

Ответ был обдуман заранее:

— Два миллиона долларов и паспорт гражданина США...

— Слов нет, ваши записки о Распутине стоят двух миллионов. Но только не наших долларов, а... русских копеек. Насколько я понял, ваш герой Распутин вышел из небогатых сибирских фермеров. Не дурак выпить. Нравов далеко не пуританских. Боюсь, что этого наш здравый американский читатель не поймет.

— Чего не поймет ваш здравый читатель?

— Не поймет, за какие достоинства Распутин пришел к управлению министрами и почему он стал близок царской семье.

— Как же вы не разобрались! Да спросите любого русского, кто ему всего гаже и ненавистнее, и любой ответит — Распутин!

— Согласны дать вам одну тысячу долларов за... сборник веселых русских анекдотов, в которых героем является Распутин. Ваша книга «Святой черт» не лишена живости, наш читатель посмеется.

— Мы, русские, плачем! — воскликнул Труфанов.

— Плачьте. А мы будем смеяться.

— Ну, хоть один миллион! — взмолился автор.

— Ни центом больше...

В дело о покупке мемуаров о Распутине вступился знаменитый автомобильный Форд, предложивший Труфанову восемь тысяч долларов. В убогом жилище бывшего иеромонаха толкались разные пресс-агенты. Желая выкачать из книги непременно два миллиона, Труфанов решил расторговать «Святого черта» по частям, отрезая по куску всем, кто ни попросит... В разгар купли-продажи пришло письмо из России — от Хвостова: министр просил никому не продавать мемуаров, ибо русское МВД согласно купить их за любую сумму! Хвостов вовремя вспомнил об Илиодоре. С помощью его мемуаров можно как следует пошантажировать Царское Село — это раз! С помощью же самого автора мемуаров можно убить Распутина — это два! Сейчас главное — сосвататься с Илиодором, и «сват» уже имеется: это бравший у него интервью журналист Борька Ржевский...

— Садись, бродяга, — сказал ему Хвостов и начал выгружать на стол пачки денег. — Это тебе... тебе... тебе...

Министр начал издалека своим певучим баритоном:

— Понимаешь, куда ни поеду, куда ни пойду, везде вляпаюсь в Гришку. Надоел, прохвост! Никак не отвязаться... Своих забот полон рот. А он барышню шлет с запиской: помоги бедненькой. Ну, дашь сотенную. Еще записка. На храм просит. Даю на храм. Теперь возмечтал он на вокзале в Тюмени создать общественный нужник — вроде Акрополя с колоннами! Дабы тюменский мещанин Забердяев, присев для отдыха, думал: сижу не где-нибудь, а в нужнике имени знаменитого Григория. Распутина... Честолюбие непомерное!

Прелюдия закончилась. Пора к делу.

— Ладно, — сказал Хвостов, — скоро все это кончится. Сейчас оформим тебе поездку якобы от Суворинского клуба... за шведской мебелью. Под таким видом из Швеции махнешь в Христианию, где живет Илиодор, и скажешь ему от моего имени, чтобы поднимал на ноги своих царицынских громил. Отвезешь ему талон на сто тысяч... золотом! Убийство произойдет с той стороны, с какой его никто не ожидает. По зигзагу: Петроград — Христиания — Царицын!

Хвостов держал при себе Ржевского на роли информатора о настроениях той литературной слякоти, что вечерами толпилась возле буфетной стойки Суворинского клуба (даже швейцары не считали этих господ писателями, называя их «шушерой»). Хвостов платил Борьке аккордно. Зато Белецкий платил ему постоянно — по шесть тысяч рублей, и Ржевский не всегда понимал, за что ему платят... Но в авантюру заговора мгновенно подключились другие силы!

. . . . . .

Инженер Гейне официально числился как «специалист клубного дела» (это и понятно, ибо он прошел выучку в притонах мафии Симановича). Сейчас он звонил в квартиру дома № 45/7 по улице Жуковского; дверь открыла Галина с громадным синяком под глазом.

— Душечка, что с вами? — спросил инженер.

— Неудачно взяла аккорд на гитаре... ерунда!

— Боренька дома?

— Ушлялся... марафету ищет понюхать.

Ржевский скоро явился в немалом возбуждении, молча вытряхивал из карманов пачку за пачкой — деньки, деньги, деньги.

— Ого! — сказала Галина. — Никак выиграл?

— Я выиграл судьбу... Вся жизнь впереди!

Галина, дама очень сообразительная, сразу раскрыла свой потрепанный ридикюль, сгребла в него деньги, деньги, деньги.

— Постой, — остановил ее сожитель. — Чего это ты

так заторопилась? Допусти на одну минуту, что это деньги казенные.

— Какие б ни были, но пропить их не дам!

Буквально через секунду Гейне оказался в самом центре бурного извержения семейных страстей. Незаконные сожители умудрились каким-то непостижимым образом разбить даже люстру под потолком, и бедный инженер был осыпан, как горохом, осколками стеклянных бусин. Гейне в страхе забился под диван, но в тот же момент ножки дивана подкосились, и Гейне испытал примерно то, что испытывали русские князья, когда на них пировали Мамаевы ханы. Драка в стиле бравурного крещендо продолжалась уже поверх дивана, при этом Галина, которую Борька душил за глотку, орала:

— Инженер, мать твою так, где же ты? Разве не видишь, что несчастную женщину на твоих глазах убивают...

Потасовка кончилась удивительно мягко и лирично. Из шестидесяти тысяч хвостовского аванса пять тысяч попали в карман Гейне, успевшего подхватить их с полу. Тысяч около сорока отвоевал себе Ржевский, остальные взяла Галина, которая и закрыла дверь за мужчинами.

— Я тебя еще выведу на чистую воду! — выпалила она.— Не побоюсь сказать при образованном человеке (это она о Гейне), что я дура, что с таким поганым «бобром» связалась...

Инженер с журналистом выкатились на улицу.

— Видишь, какая у меня жизнь,— сказал Боря.

— Послушай, а откуда у тебя столько денег?

Ржевский нашептал по секрету, что Хвостов задумал непременно покончить с Распутиным, но никому уже не доверяет, и потому давить Гришку должны царицынские громилы Илиодора.

— Еду, брат, в Христианию... от Суворинского клуба.

— Ну, поздравляю! — сказал на это Гейне; проводив Ржевского до игорного клуба, он сразу же позвонил на квартиру Симановича: — Аарон, надо срочно спасать нашего друга Григория...

Симанович велел инженеру отправляться обратно на Жуковскую и блокировать в квартире Галину, выпытав у нее все, что она знает о Борьке. Затем Симанович созвонился с правлением «Франко-Русского банка», вызвав к телефону директора — Митьку Рубинштейна. Банкир, грудью вставая на защиту Распутина, впредь ни под какие проценты (!) не оплачивал счетов, на которых было написано: «По приказу мин-ра вн. дел»! Таким образом, сионисты сразу перекрыли для Хвостова шлюзы, ведущие к денежным фондам... Где-то на берегу Симанович перехватил Манасевича-Мануйлова.

— На нашего друга замышляется убийство.

— Старо как мир.

— На этот раз очень ново! Григория я уже предупредил, чтобы, пока все не выяснится, на улицу не высовывался...

Из рассказа ювелира Ванечка понял, что Хвостов, используя мемуары Илиодора, хотел бы устроить небывалый скандал, замешав в него императрицу, дабы потом у царской семьи не стало смелости держать Распутина в столице. Хвостов в мемуарах Илиодора видел некий талисман, могущий избавить страну от Распутина, но вслед за падением Распутина последует падение с Олимпа всех богов земных — заодно со Штюрмером кувыркнется и он, Ванечка! Манасевич срочно информировал о заговоре Штюрмера, на что тот отвечал: «Это фантазия... Вероятно, какие-нибудь жидовские происки и шантаж против Хвостова, который ненавидит жидов...» Ванечка никак не ожидал, что Штюрмер снимет трубку и позвонит самому Хвостову:

— Алексей Николаич, а какие у вас альянсы с Илиодором?

Ответ Хвостова был крайне неожиданным:

— Ежемесячно я выплачиваю ему по пять тысяч.

— За что? — спросил глава государства.

— За то, чтобы он не печатал своих мемуаров.

— Безобразие — швырять казенные деньги в печку.

— А хорошо горят,— отвечал Хвостов.— А чтобы вам стало жарче, я сообщаю: немцы тоже замешаны в покупке мемуаров.

— Так и пускай тратят свою валюту!

— Вижу, что вам еще не жарко,— засмеялся Хвостов.— Тогда подкину дровишек... Немцы хотят выбрать из книги Илиодора самые похабные места, фрагменты будут отпечатаны на листовках, которые разбросают с аэропланов над позициями наших войск. Ну, как?

Штюрмер повесил трубку, посмотрел на Манасевича.

— Хвостов... пьян,— сказал он.— Сегодня я ночую на даче Анны Александровны и скажу ей в глаза, что дальше никак нельзя терпеть, чтобы во главе эм-вэ-дэ стоял этот... гопник!

Манасевич завел свой «бенц» на восьми цилиндрах.

— Поехали к Галочке,— сказал Симановичу.

По дороге купили букет фиалок — все-таки дама!

Галину сторожил Гейне; женщина хваталась, что знает Борьку как облупленного, но... не выдала. В таком деле нужен человек более опытный, вроде Ванечки; он присмотрелся к квартире, увидел немало добра, какого с писания статеек в газете не наживешь, и вдруг ему стало... дурно!

— Извините,— сказал,— где у вас ванна?

Закрывшись в ванной, моментально обнаружил тайник, в котором лежало немало денег, спичечный коробок с необработанными алмазами и много огнестрельного оружия. Ванечка сказал Галине:

— Чуточку стало легче. Знаете, у меня диабет. Маленький сахарный заводик по обслуживанию одной персоны... Кстати, не нужны ли вам карточки на сахар? Могу. А отчего я вас раньше не видел? Вы так шикарны, мадам... Поверьте, этот очаровательный синяк даже идет вам. Он напоминает мне солнечное пятно с картин французских импрессионистов... Ах, Париж, Париж! Где ты?..

Между болтовней он ловко выудил из Галины, что Борька Ржевский как уполномоченный Красного Креста торгует на вокзалах столицы правом внеочередной отправки вагонов. Если фронту позарез нужны гаубицы, то фронт может подождать — вагоны отдавались под шоколад фирмы Жоржа Бормана! Ванечка поцеловал Галине ручку.

— Мадам, вы произвели на меня впечатление...

Не отпуская от себя Симановича, он поехал на квартиру к Степану Белецкому, который прижал палец

к губам, давая понять, что имя Распутина в его доме не произносится. Вкратце Манасевич обрисовал положение с замыслáми министра: Хвостов сам залезáл в капкан! Все эти дни шел перезвон между Белецким и царицей, между Вырубовой и Распутиным, который боялся выставить нос на улицу. Наконец внутренняя агентура доложила, что Ржевский берет в полиции фиктивный паспорт на имя Артемьева, и Белецкий почувствовал себя стоящим у финиша... Притопывая ногой и прищелкивая пальцами, он позвонил на станцию Белоостров, оттуда ему ответили, что граница Российской империи слушает.

— Вот что,— сказал в телефон Белецкий,— позовите-ка к аппарату начальника погрантаможзаставы станции Белоостров.

— Полковник Тюфяев у аппарата,— доложили ему.

— Это ты, Владимир Александрыч? Здравствуй, полковник... Ну, как у вас там? Снегу за ночь много навалило?

— По пояс. Сейчас на перроне дворники сгребают.

— У меня к тебе дело... Есть такой Ржевский, нововременец и почетный банкомет Суворинского клуба, кокаинист отчаянный! Сейчас смазывает пятки. Когда появится в Белоострове, ты...

. . . . . .

Белоостров. Все граждане империи трясут здесь свои чемоданы, предъявляют документы, чтобы (в преддверии зарубежной жизни) проехать в пределы Великого Княжества Финляндского... Ржевский решительным шагом мужчины, знающего, что ему нужно, отправился в станционный буфет. В дверях зала ожидания он грудь в грудь напоролся на осанистого жандарма (это был Тюфяев). Полковник, недолго думая, громадным сапожищем придавил носок писательского штиблета. Ржевский заорал от боли. Последовал официальный запрос:

— Какое вы имеете право орать на полковника корпуса погранохраны, находящегося при исполнении служебных обязанностей?

На официальный вопрос последовал болезненный ответ:

— Вам бы так! Вы ж мне на ногу...

— По какому праву осмеливаетесь делать замечания?

— Вы на ногу...

— Прекратите безобразить,— отвечал Тюфяев.— Господа,— обратился он к публике (среди которой были переодетые филеры),— прошу пройти для писания протокола об оскорблении.

— Мне в буфет надо. Вы же мне сами на ногу...

— Ничего не знаю. Пройдемте...

Ржевского втянули на второй этаж вокзала, где размещался штаб жандармской службы. Тюфяев позвонил Белецкому и сказал, что фрукт уже в корзине, с чем его шамать? Белецкий из Петрограда велел Тюфяеву заставить Ржевского разболтаться, а протокол о задержании переслать ему. Тюфяев взял у Боречки паспорт.

— Бумажка-то липовая, господин... Артемьев?

Ржевский решил запугать Тюфяева именем Хвостова.

— Смотри! — показал свои бумаги.— Кем подписано?..

В ответ получил по зубам и заплакал. Из подкладки его шубы опытные таможенники выпороли секретное письмо Хвостова к Илиодору. Потом, грубо третируя близость журналиста к МВД, Ржевского стали избивать. Он кричал только одно: «Кокаину мне! Кокаину...» Тюфяев снова оповестил Белецкого, что «протокол составлен».

— Ржевский сознался, что едет от Хвостова?

— Все размолотил. У меня пять страниц.

Хвост министра уже прищемлен в капкане, а теперь, дабы усугубить его вину перед Царским Селом, Белецкий велел Тюфяеву:

— Пропусти Ржевского со всеми деньгами и письмами за границу. А когда будет возвращаться — арестовать...

Распутин был поставлен им в известность о заговоре.

— Хвостов — убивец, а ты, Степа,— друг, век того не забуду! Я царицке скажу, какого змия на груди своей мы сами вырастили... Все министеры — жулье страшное! Что унутренний, что наружный, что просвещениев, что по фунансам,— их, бесов, надо в пястке зажать и не выпущать, иначе они совсем у меня избалуются...

8. КОГДА ОТДЫХАЮТ МОЗГИ

Разъярясь окончательно, Хвостов арестовал Симановича, которого доставили в охранное отделение, где его поджидал сам министр в замызганном пальтишке и демократической кепочке — набекрень. Ювелира запихнули в камеру, и в приятной беседе без свидетелей Хвостов бил его в морду.

— Ты передавал в Царское письма Штюрмера и Питирима? Отвечай, что еще задумала ваша шайка? Какие у тебя связи с Белецким?..

Шестнадцать суток аферист высидел в секретной камере МВД на воде и хлебе, но не скучал, ибо знал, что хвостовщина обречена на поражение, а Распутин вскоре станет велик и всемогущ как никогда. Шима Симанович, старший сынок его, надел мундир студента-технолога, поехал в Царское Село, Вырубова провела его к императрице. Выслушав рассказ проворного студента, как его папочку уволокли агенты Хвостова, Алиса глупейше воскликнула:

— Это уже революция! Хвостов — предатель.

— С жиру взбесился,— уточнила Вырубова.

Штюрмер названивал на Фонтанку — к Хвостову:

— Не вешайте трубку! Куда делся Симанович?

— Хам с ним... воздух чище.

Штюрмер говорил Манасевичу-Мануйлову:

— Невозможно разговаривать... Он опять пьян!

Хвостов был трезв. Симанович уже ехал в Нарым, а галдящий табор его ближайших и дальних родственников изгонялся из столицы без права проживания в крупных городах. Манасевич тоже видел себя в зеркале со свернутой шеей... Обычно он беседовал с премьером от 6 до 8 часов утра («потом я его видел в 4 и в 5 часов. Это был совершенно конченый человек, он при мне

засыпал несколько раз... Он как-то умственно очень понизился, но это был очень хитрый человек!»). Ванечка позвонил в Петропавловскую крепость — Лидочке Никитиной, чтобы приехала со шприцем и морфием. После инъекции Штюрмер малость прояснился в сознании.

— Ржевский,— доложил ему Ванечка,— уже арестован, а Хвостов, кажется,избивает его в своем кабинете, потом передаст Степану Белецкому, а тот выкинет какой-нибудь неожиданный фортель!

— Так что же мне делать? — спросил Штюрмер.

— Забирайте портфель внутренних дел.

— Но там же Степан Белецкий... он тоже...

— Да ну его к черту! — обозлился Ванечка.

Утром 7 февраля состоялась завершающая эту историю встреча министра и товарища министра — Хвостова с Белецким.

— Итак,— сказал министр,— при аресте Ржевского было обнаружено мое письмо. Естественный вопрос: где оно?

Белецкий пошел на разрыв.

— Если мне не изменяет память, в молодости вы были прокурором («Да, вы изучили мою биографию»,— вставил Хвостов, чиркая спички), и вы таким образом, знаете, что в местностях на военном положении жандармы обладают правами судебных следователей...

— Жандармы? — сказал Хвостов, забавляясь игрой огня.— Но я ведь не только министр, я еще и шеф корпуса жандармов его величества. Итак, вторично спрашиваю — где мое письмо?

— Подшили к делу.

— Ах, портняжка! Чей лапсердак вы шьете?

— Шьем самое примитивное дело: о преступлениях Ржевского на товарных станциях столицы и взятках, которые он брал.

— Вот куда я влип! Но мое-то письмо зачем вам?

— До свиданья,— сказал Белецкий, хлопая дверью...

На прощание Хвостов тоже решил трахнуть дверьми министерства внутренних дел с такой силой, чтобы в Царском Селе вздрогнули. Одним махом он убрал с Гороховой охрану, что насмерть перепугало Распутина, и он скрылся (по некоторым сведениям, варнак эти дни прятался на даче у Вырубовой).

. . . . . .

— Мои мозги здесь отдыхают,— часто говорил в Ставке царь, и это правда, ибо всю работу за него проводили генералы, а делами империи занималась жена... Николай II проживал в доме могилевского губернатора. На первом этаже размещалась охрана, вежливо, но твердо предлагавшая всем приходящим сдать огнестрельное и холодное оружие. В один из дней к дому подкатил автомобиль, за рулем которого сидела красивая женщина, одетая в дорогие серебристые меха. Следом за мотором скакала на рысях сотня Дикой дивизии — отчаянных головорезов в драных черкесках, обвешанных оружием времен Шамиля. Из кабины легко выпрыгнул худосочный генерал в бешмете, с кинжалом у пояса. При входе в дом его задержали.

— Будьте любезны, сдайте кинжал и револьвер.

— Прочь руки! Я брат царя — великий князь Михаил...

Да, это был Мишка, которого на время войны братцарь келейно простил; теперь он командовал необузданной Дикой дивизией, наводившей ужас на немецкую кавалерию. Братья скупо облобызались. Михаил сбросил лохматую папаху, показал на заиндевелое окно:

— Наталья в моторе. Можно ей подняться сюда?

Николай II расправил рыжеватые усы.

— Дд-а-а... Но лучше пусть едет в гостиницу.

— Но так же нельзя! Пойми, что я люблю эту женщину. Если ты боишься Аликс, так я обещаю не проговориться об этом визите.

Император круто изменил тему разговора:

— Как дивизия? Джигиты не мародерствуют?

— Да нет, не очень... А ты постарел.

— У меня много неприятностей,— сознался царь.— Не только фронтовых, но и внутренних.

Автомобиль с Натальей тронулся по заснеженной улице Могилева в сторону вокзала, за ним с воем и визгом поскакала «дикая» конвойная сотня. Михаил сказал брату, что надо гнать Распутина.

— Я не вмешиваюсь в твои личные дела (хоть ты не стыдишься вмешиваться в мои), но послушай, что говорят в народе... Даже мои джигиты уже понимают, что добром это не кончится, и средь них появились большевики. Война ведется глупо и неумело. В тылу у тебя — бестолочь, разруха. Поезда не столько едут, сколько простаивают на разъездах. Надо ввести карточную систему на все продукты, как это сделано у Вилли: А у нас один обжирается в три горла, а другой не знает, где ему купить хлеба...

— Мне все это знакомо,— отвечал царь.

— Так делай что-нибудь! Это раньше Распутин был лишь анекдотом, а теперь это уже громадная язва, от нее надо избавиться.

— Миша, ты ничего не понимаешь.

— Объясни, если я не понимаю.

— У меня роковая судьба...

— Мама тоже говорит, что ты обречен. Пойми, что мне плевать на шапку Мономаха, я потерял на нее права после женитьбы на Наталье, но, как брат брату, я хочу сказать... *уступи!*

— *Уступать не буду.* А рок есть рок.

Михаил нервно подвытянул кинжал из ножен, рывком задвинул его обратно. Прошелся. Длинный бешмет хлестал его по ногам.

— Ты мне часто говорил, что надо уметь идти против течения. А видел ли ты, как в степях останавливают табун диких лошадей? Это страшная картина! Когда несется табун, горе тому, кто решится встать на его пути. Но умные люди выскакивают на скакунах в голову табуна и уводят его за собой куда им нужно... Мудрость правителя в том и заключается, чтобы не биться лбом о стенку, а скакать впереди событий, стараясь даже обогнать их.

— Это красиво, но...— Николай II полистал важные бумаги.— Не знаю, что делать,— произнес тихо.— Надобно утвердить государственный бюджет на шестнадцатый год, уже февраль шестнадцатого. А для этого необходимо созывать Думу.

— Так созови.

— Не хотелось бы... Родзянко снова начнет учить

меня, как надо жить. Левые, раскричатся о предательстве в верхах. Даже правые сейчас стараются испортить мне настроение...

— Скажи, зачем ты назначил Штюрмера?

— Владимир Борисыч — хороший человек.

— Но этого слишком мало для представительства державы. Обыватель рассуждает: что это, глупость или измена?

— Пойдем обедать,— сказал царь, ставя точку.

Ставка считалась «на походе», и посуда была только металлическая (серебро и золото). Царских лакеев приодели в солдатские гимнастерки.

Подумав о Наталье, которая одиночничает в гостинице, Мишка дернулся прочь из-за стола.

— Я, пожалуй, тебя покину,— сказал он.

— Передай привет жене,— ответил царь.— И не спеши отъезжать на фронт. Вопрос о созыве Думы еще не решен, а ты можешь мне понадобиться... Вечером приходи. Поболтаем.

Вечером его удержала Наталья:

— Зачем тебе лишний раз перед ним унижаться? Побудь со мною. Ты бы слышал, что недавно говорил мне Сазонов. Он в ужасном настроении, и поверь, такое же настроение у всех честных людей. Сазонов сказал, что царица у нас явно сумасшедшая, она ведет к гибели не только Россию, но и свое семейство...

Император дал брату прочесть последние письма жены. «Будь стоек — будь властелином,— приказывала она.— Покажи *всем,* что ты — *властелин, и твоя воля будет исполнена*... Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом — сокруши их всех... Будь львом в битве против маленькой кучки негодяев и республиканцев!»

Михаил решил заговорить о другом:

— А мама состарилась. Так же красится и румянится, но глаза уже потускнели, ходит медленно... Годы!

— Мы тоже не молоды,— согласился царь.

— Наверное, нас что-то всех ждет... ужасное.

— Я верю в это,— отвечал Николай II спокойно.— Но я не изменю мотивам самодержавия до конца, каким бы он ни был!

Императрица велела срочно вернуть Симановича с дороги в Нарым, а Белецкий сразу же возродил в подъезде дома № 64 по Гороховой улице службу охраны и наблюдения. Гришка вернулся на свою квартиру... Первым делом он учинил выговор филерам:

— Кой пес из вас написал, будто я дам на колени себе сажал? Ваше дело — не болтать, а беречь меня аки зеницу ока...

Митька Рубинштейн подарил ему «просто так» триста тысяч рублей, Гришка загулял, пел на улице песни и плясал перед прохожими, чуя победу. Филерские списки показывают, что Симанович с Гейне таскались на Гороховую до пяти раз в день. Таскались сами и таскали к Распутину каких-то молоденьких евреек... Однажды, поднимаясь по лестнице, Распутин неопределенно сообщил филерам:

— Там вот наследили, теперь подтирать будем...

Он имел в виду заговор Хвостова и его связь с Илиодором. Вино носили на квартиру в эти дни ящиками и корзинами.

Николай II, прихватив из Ставки брата Михаила, на автомобиле — прямо с вокзала! — прибыл в Таврический дворец «под несмолкаемые крики «ура» и приложился к кресту. Государь был очень бледен, и от волнения у него тряслись руки...». Политически появление в Думе царя не имело никакого значения, ибо забастовки, потрясавшие страну, уже определяли будущее страны. Обойдя помещение Думы, царь перекинулся с депутатами незначительными словами, сел в автомобиль и поехал к жене. Зато Мишка остался на заседании, когда Штюрмер зачитал пустопорожнюю декларацию правительства, представ перед обществом как политическое ничтожество. В ответ выступил язвительный Пуришкевич, сравнивший Штюрмера с гоголевским Чичиковым, который всех в губернии уже объехал, не знал, куда бы еще нагрянуть, и решил — черт с ним, заодно уж заверну и в Думу...

Михаил навестил Родзянку в его председательском кабинете.

— Что же дальше-то у нас будет? — спросил он.

— Паршиво будет, ваше высочество... Садитесь.

— Благодарю,— сказал великий князь, присаживаясь.— Вы бы как председатель Думы поговорили с моим братцем.

— Поговорили бы вы как брат с братом. Вам это легче!

— Я пробовал. Но все бесполезно.

— А я не только пробовал, я ему даже талдычил, что страна скатывается в хаос, нас ждут небывалые потрясения, надо спасать монархию, но... увы! Женское влияние сильнее моего.

— Я с этой женщиной,— отвечал Мишка, имея в виду императрицу,— дел никаких не имею. Как будто ее не существует.

— А я ее даже побаиваюсь,— сознался Родзянко...

Вечерняя мгла закутывала высокие окна Таврического дворца, на улицах неслышно кружился снег. Зазвонил телефон — Родзянко выслушал, и было видно, как он внутренне помертвел.

— Поздравляю! — сказал, бросая трубку.— Вот только что убили Распутина... Убил какой-то граф... на «Вилле Родэ»!

Великий князь и председатель Думы заключили друг друга в крепкие объятия; Родзянко, не скрывая чувств, даже прослезился на радостях, оба повернулись к иконе — благодарили всевышнего.

— Я позвоню на «Виллу Родэ»,— сказал Мишка.

Владелец шантана Адолий Родэ сказал ему, что час назад была колоссальная драка, посуды и стекол набили кучу, сейчас здесь сидит полиция, пишет протоколы. Распутина в основном бил граф Орлов-Денисов, но драка носила локальный характер — из-за какой-то пошлой хористки.

— Так он разве жив? — в отчаянии спросил Мишка.

— Распутин вырвался и убежал...

При свидании с Родзянко царь неожиданно согласился с ним, что атмосфера в столице слишком накалена, надо дать ей чуточку остыть. 27 февраля Николай II (выдержав истерику жены и рыдания Вырубовой)

распорядился выслать Распутина на его родину. Газеты при этом обязались хранить вежливое молчание — никаких комментариев... Они и молчали! Только никому не известный журнал «Божия коровка» проявил гражданскую смелость. Он опубликовал странный рисунок, изображавший ощипанную птицу с длинным носом, в зад которой воткнуто пышное павлинье перо. Лишь очень опытный глаз мог в этой «птице» угадать Распутина, и рисунок без помех прошел цензуру. Одновременно с рисунком «Божия коровка» поместила сообщение: «По дошедшим до редакции слухам, недавно из Петрограда в Сибирь экстренно выслан вагон с битой птицей». А через несколько дней царица велела срочно вернуть Распутина, и старательная «Божия коровка», тихо ползая меж цензурных рогаток, дала такое объявление: «Редакции журнала стало известно, что на днях из Сибири в Петроград возвращен вагон с битой птицей...» Распутин в богатейшей шубе, купленной на деньги Рубинштейна, снова появился на улицах столицы, с высоким цилиндром на голове, похожий на купца-старообрядца, гневливо стучал всюду палкой. «А ваш Хвостов убивец,— твердил он филерам на лестнице,— зато Степа — парень хошь куды!» Он велел дворнику соорудить лавку для сидения филеров — пожалел, что они сутками маются на ногах. Сидя на этой лавке, сунув носы в воротники пальто, филеры горько оплакивали свою незавидную судьбу:

— Сколько били его, сколько калечили — и хоть бы что! Неужто не найдется героя, который бы пришлепнул его раз и навсегда? Так и сдохнем мы возле этой двадцатой квартиры...

. . . . . .

Из рязанской ссылки вернулся и Побирушка!

9. ТОРТ ОТ «КВИСИСАНЫ»

Заговор Хвостова воедино сплотил всю распутинскую когорту, и теперь симановичи, гейне, рубинштейны, манасевичи (и Белецкий!) стали для Царского Села дороже любого министра. Февраль 1916 года целиком посвящен небывалому движению автомобилей, сновавших от Гороховой до Александрии: то Симанович визитировал Штюрмера, то Гейне навещал Вырубову... Ощутив приступ творческого вдохновения, Белецкий рискнул пойти на подлог, чтобы сразу и навсегда отделаться от Хвостова. Материалы о заговоре против Распутина он подкинул в «Биржевые ведомости», а когда газета их опубликовала, он, дабы замести свои следы, дурно пахнущие, напечатал в «Новом времени» письменный протест против публикации, делая вид, будто эти материалы у него выкрали... Он умел «шить дела», но на этот раз сшил белыми нитками! Справедлива народная поговорка — на каждого мудреца бывает довольно простоты. В «желтом доме» на Фонтанке раздался страшный хруст — это сломали шею Белецкому. Увлекшись добиванием соперника, он не рассчитал одного — публикация обнажила перед обществом всю гниль и разврат в верхах, и распутинская мафия разом набросилась на него же — на Белецкого. Его ободрали как липку: лишили прав товарища министра внутренних дел, велели ехать в Иркутск и там потихоньку губернаторствовать... Хвостов не удержался — поздравил его по телефону:

— Ну что, Степан? Вырыл ты могилу для меня глубокую, а угодил в нее сам... со женою и со чадами! Езжай, соколик. Сибирские волки давно подвывают, желая обглодать твои бренные кости.

— Не я, так другие,— в ледяной ярости отвечал Белецкий,— но столкнут тебя, супостата, в могилу — поглубже моей!

— А я не такой дурак, как ты обо мне думаешь,— сказал ему Хвостов и... объявил пресс-конференцию для журналистов.

Может, он сошел с ума? Министр внутренних дел (в дни войны!) решил допустить прессу в потаенное средоточение всей государственной скверны. Хвостовщина выписывала одну из сложнейших синусоид реакционного взлета и падения. Да! Я вынужден признать, что этот аферист не боялся доводить воду до крайних градусов кипения, чтобы с кастрюль срывало крышки. Кроме головы, ему уже нечего было терять, и Хвостов на прощание устроил феерическое цирковое представление... Его кабинет заполнили журналисты.

— Не смотрите на меня так трагически,— сказал им Хвостов, искрясь весельем,— тут надо смотреть с юмором, не иначе...

Для начала он поведал то, чего не знали другие. Царица устроила для Распутина новогоднюю елку, но Гришка всю ночь кутил с грязными девками, прибыл домой пьян-распьян, забыв про елку, а утром его будили агенты... Хвостов описал эту картину...

— Вставай, говорят, сучий сын, тебя елка с игрушками ждет! Сунули в нос ему нашатырь — вздыбнули на ноги. Стоит. Не падает. Можете представить, в каком виде тащили его на поезд. Но там (!) мерзавец мгновенно преображается. Всю ночь не спал, а молился. Я же знаю. Бадмаев ему дает какой-то дряни, чтобы зажевать дурной запах во рту... Они,— сказал Хвостов о царях,— сами виноваты, что Распутин играет такую роль... Дикость, мистицизм, отсутствие разума, потеря интеллекта. Возвращаемся к средневековью.

Стуча кулаком, Хвостов кричал, что, пока он сидит на троне МВД, он будет портить кровь распутинскому отродью, он будет арестовывать и обыскивать распутинскую нечисть.

Он не просто загасил папиросу в пепельнице — он растер окурок в труху с такой ненавистью, будто уничтожал самого Распутина. Ему было обидно, что цензура зарезала его интервью сразу же, и оно появилось в печати только после Октябрьской революции, когда песенка Хвостова была уже спета — его повели на расстрел...

. .

Чтобы ощутить себя полновластным владыкой в делах русской церкви, Распутин замышлял создание на Руси патриаршества, уничтоженного Петром I, а в патриархи, с помощью Осипенко, карабкался долгогривый Питирим. «Верить ли в это?» — спрашивали обыватели. «А почему бы и нет? Мы живем как в сказке...» Как в сказке в Суворинском клубе работал тотализатор — позорище, какое трудно придумать.

Юркие журналисты делали ставки на министров падающих, на министров возникающих.

— Добровольский проскочит в министры юстиции.

— Добровольский? А кто это такой?

— Неважно! Ставлю один против десяти, что министр иностранных дел Сазонов падет неслышно, аки лист осенью.

— Сазонов никогда не падет, ибо он начал эту войну, все договоры в его руках, к нему привыкли послы Антанты.

— Ты ничего не понимаешь! Сазонов вслух высказывает страшные вещи. Он говорит, что Россия более не великая держава...

— Ставлю, что Хвостов вылетит из МВД завтра же!

— Имею сведения — через три дня.

— Почему так поздно?

— Не знают, кого назначить на его место...

Да, не знали. Царь повидал Распутина.

— От меня требуют жертвы, Григорий,— сказал он ему.— Дума встает на дыбы — главным злодеем считают Сухомлинова.

— Нешто старикашку обидишь?

— Жертва времени... пойми ты,— скорбно ответил царь.

— Зачем ты начинал войну? — спросил Распутин (мрачно).

— Я не начинал. Она началась сама по себе...— Потом Николай II произнес чувствительные слова: — Что бы ни случилось, Григорий, как бы ни клеветали на всех нас, я с тобой не расстанусь.

Каждая клятва нуждается в подверждении делом, и царь протянул ему бумагу — указ об отставке Хвостова! Распутин, обратясь к иконам, крестился, а царь спросил — кого поставить в министры внутренних дел? Один раз на Хвостове обожглись — вторично промашки делать нельзя... Распутин прикинул и так и эдак. Ничего не получалось. Из кармана министра не вынешь.

— А на што новых-то плодить? — сказал он царю.— Старикашка в примерах сидит, пущай и будет унутренним.

— Белецкий тоже хочет,— сказал император.— Говорят, даже с казенной квартиры не выезжает... ждет падения Хвостова.

— Степан,— отвечал Распутин,— если меня и не убивал, то, видит бог, убить может... Ну его! А на Штюрмера почила благодать божия. Старикашка послушный. Спать любит. Признак здоровья.

— Штюрмера все ненавидят,— заметил Николай II.

— А меня — што? Разве навидят? То-то...

Когда автомобиль с Распутиным, возвращавшимся из Царского Села, проезжал окраинами столицы, могуче, будто раненые звери, трубили в сумерках гигантские заводы — рабочие бастовали. К экономическим требованиям путиловцы теперь прибавили лозунги и политические... Впрочем, все это Белецкого уже не касалось: ему определили оклад в пятьдесят четыре тысячи рублей, и надо было ехать в Иркутск, но Побирушка ходил за ним по пятам, божился, что проведет его в сенаторы, а потом... потом и в министры внутренних дел.

— Не покидайте казенной квартиры! — взывал Побирушка.

Белецкий заглянул в кондитерскую «Квисисана» на Невском проспекте, где владелец кафе Генрик Сартори любезно проводил его в отдел срочных заказов. Контора благоухала мускатом, имбирем и корицей. Приятная барышня в чистом передничке раскрыла блокнот.

— Итак, мсье, что вам угодно от «Квисисаны»?

— Торт.

— В какую цену?

— Сколько бы ни стоил.

— Именинный? Юбилейный? Даме или мужчине?

— Одному... *хаму*,— сказал Белецкий.

Барышня нисколько не удивилась:

— Хам останется доволен. Как исполнить?

Фантазия жандарма работала превосходно:

— Сделайте торт в виде кладбища с крестами из чистого бразильского шоколада... Кстати, есть у вас шоколад?

— «Квисисана» живет еще довоенными запасами.

— А по краям торта, вроде узора, изобразите поучительную надпись: ВОТ ТВОЯ МОГИЛА. Хорошо если бы вместо сахарной пудры вы посыпали кладбище стрихнином... вроде выпал легкий снежок. Нельзя? Ядов не держите? Жаль...

— По какому адресу отправить этот торт?

Белецкий оставил ей адрес квартиры Хвостова.

. . . . . .

Бывший министр снял крышку с великолепного торта.

— Какая дивная работа... узнаю мастера Степана! Бывшему министру от бывшего товарища министра... Приятно посмотреть!

Позвонила Червинская — почти шепотом:

— Алексей, сразу уничтожай все, что имеешь.

Клеопатра решила спасти своего Антония.

— Прости,— ответил Хвостов,— в двери звонят...

В министерскую квартиру ввалились двое: Манасевич-Мануйлов и Аарон Симанович — в пальто нараспашку. Ванечка как опытный шпик сразу же схватил телефонную трубку:

— Итак, я слушаю... продолжайте.

По его лицу было видно, что связь Хвостова с Червинской явилась для Ванечки неприятным сюрпризом.

— Опоздала ваша знакомая,— сказал он, вешая трубку.

Хвостов не сдержал приступа лютого антисемитизма:

— Два жида в три ряда... Ну, ладно, Ванька! Тебя-то я хоть знаю. А зачем ты привел сюда этого пархатого?

— Алексей Николаич, не я же этого жида придумал! Таково желание государыни императрицы, чтобы Симанович, как ранее пострадавший от вашего произвола, присутствовал при обыске.

— Что-о? У меня? У меня и... обыск?

— Вот письмо от Штюрмера,— передал ему Ванечка.

Штюрмер писал, что по приказу императора Хвостов обязан снять с себя все ордена и отправляться в

ссылку. Золотой ключ камергера у него отобрали вместе с футляром. Симанович уже рылся в ящиках стола, выгребая из них на пол секретные бумаги. Манасевич сам растопил камин и каждую бумагу, в которой встречалось имя Распутина или царицы, бросал в огонь. Хвостов остолбенело наблюдал за уничтожением ценнейшего архива, который он собрал на посту министра, чтобы историки будущего имели материал о действиях распутинской мафии...

— Вы скорпионы! — кричал он.— Вы шакалы!

Аарон Симанович наслаждался местью.

— Против кого ты вздумал идти? Против Григория Ефимыча? Против нас? Измордуем и оплюем... Ты уже не встанешь!

— Ванька,— заорал Хвостов, берясь за канделябр,— убери эту гнусь, или я за себя не отвечаю... разнесу ему череп!

В кабинет вошла жена, удивительно спокойная.

— Что ты, Леша, возмущаешься? — сказала она.— Ты сам хотел грязи как можно больше. И ты нашел самую нечистую яму — министерство внутренних дел... Так успокойся: все в порядке вещей.

Хвостов выпустил канделябр и зарыдал.

— Меня, столбового русского дворянина... Я не могу!

— Тебе,— отвечала жена,— было очень приятно взлетать. Так имей же мужество падать низко. Все пройдет в этом мире, как и мы с тобой, и ничто в этом мире не вечно. Были мы — будут другие! Такие же свиньи, как и ты, дорогой, и как вот эти... господа, что тебя сейчас оскорбляют. Встань выше этого!

Под конвоем филеров Хвостова доставили на вокзал, посадили в вагон, и... он поехал в историю. Убийцы Распутина из него не получилось, а получился самый обычный «бульварный романчик» с дамочками, рюмочками, взяточками, растраточками... Между тем в кулуарах Думы бродил подлинный убийца — это лысый, очкастый и вертлявый Пуришкевич, писавший в эти дни о министерской чехарде:

Их жизни срок сейчас минутен,
Уйдут, оставив серный дым,
А прочен лишь один Распутин
Да долгогривый Питирим...

Черносотенец был поэтом, но своих стихов никогда не печатал — это ни к чему, да и цензура их не пропустит! Он явился в кабинет Родзянки и сказал ему, отчаянно жестикулируя:

— Разве так убивают? Гришку надо убивать, как режут свинью... без экивоков. Просто взял ножик — пырь в бок, и готово! Согласен, что противно. Будут кровь, всякая слизь, и потечет гнилая сукровица, а волосы перемешаются с мозгами. Но если это надобно ради спасения драгоценной монархии и кристальных идей нашего самодержавия, то поверьте, я... готов!

— Вы больше никому этого не говорите,— сказал Родзянко.

— Упаси бог! — отвечал Пуришкевич.— Только одному вам как председателю всероссийского парламента.

. . . . . .

Революция не сентиментальна! Двух заклятых врагов, Хвостова и Белецкого, поставили к одной стенке, и под прицелом равнодушных винтовок, за секунду до залпа, они в последний раз могли плюнуть в глаза друг другу, могли сказать последнее «прости»!

10. «МЫ ПЛОХО КОНЧИМ...»

Палеолог второпях записывал: «С тех пор, как Штюрмер стоит у власти, влияние Распутина очень возросло. Кучка еврейских финансистов и грязных спекулянтов, Рубинштейн, Манус и др., заключили с ним союз и щедро его вознаграждают за содействие им... Если дело особенно важно, то он непосредственно воздействует на царицу, и она сейчас же отдает распоряжение, не подозревая, что работает на Рубинштейна и Мануса, которые в свою очередь стараются для Германии... Императрица переживает очень тяжелую полосу. Усиленные молитвы, посты, аскетические подвиги, волнения, бессонница. Она все больше утверждается в восторженной мысли, что ей суждено спасти святую православную Русь и что покровительство Распутина необходимо ей для успеха...»

Палеолога снова навестил Путилов — хмуро пророчил:

— Дни царской власти уже сочтены, а эта власть — основа, на которой создана вся архисложная система управления государством. Отныне нужен только повод, чтобы революция вспыхнула. В русских условиях она может быть только всенародной, но сигнал к ней, безусловно, дадут интеллигенты, не теряющие надежд спасти Россию одними словами. Однако,— веско договорил Путилов,— от буржуазной революции мы тотчас же перейдем к пролетарской...

Затем в посольство пришел молодой композитор Сережа Прокофьев, проигравший Палеологу отрывки из своей сюиты «Сарказмы», что посол тоже включил в число важных событий: «Изобилие мыслей, но они заглушаются погоней за переливами и неожиданными созвучиями... Верховная комиссия для расследования дела генерала Сухомлинова закончила свою работу». Вечером посол отъехал в театр, где слушал Шаляпина в «Борисе Годунове», и ему было даже страшно от обилия чувств и насилий, от потрясающих сцен раскаяния царя. Палеолог сидел в ложе рядом с княгинею Салтыковой, и под перезвоны колоколов женщина сказала послу с легким вздохом:

— Вот это — мы... Вот это мы, русские!

Посол поцеловал ей руку, пахнущую жасмином, и женщина, слегка колыхая прекрасный веер, сказала:

— Мы принадлежим к породе людей, обожающих зрелища. В русском народе много артистического, слишком много воображения и музыкальности... *Мы плохо кончим,*— тихо заключила она.

«Она задумчиво смолкает,— записал посол этот разговор,— в ее больших светлых глазах — выражение ужаса...» Во тьме слабого зимнего рассвета стонали путиловские заводы. Было что-то удивительное и грандиозное в этой обильной и сложной русской жизни, в которой капиталист Путилов рассуждал о пролетарской революции, гениальный мужик Шаляпин изображал царя так, словно родился в чертогах Кремля, а

рабочие бастовали на окраинах «парадиза» великой империи... Это было как раз время боев под Верденом! Чтобы помочь солдатам Франции, солдаты России перешли в наступление на Двинском фронте, платя за каждую версту кровавый налог — по десять тысяч жизней (такова стабильная цена Вердена для России!). А в Могилеве состоялся примечательный разговор царя с Родзянко:

— Михаил Владимирович, как вы мыслите, чем закончится эта война? Благополучно ли для нас?

— *Победа уже невозможна,*— ответил Родзянко.

Царь подумал и сказал равнодушно:

— Благодарю вас. Больше не смею задерживать...

Странное дело: весной 1916 года Романовы знали что-то такое, что давало им право планировать заключение мира на осень. Во всяком случае, Николай II и его жена были твердо уверены, что осенью война закончится,— штыки армии можно развернуть внутрь России, дабы подавить все растущее движение пролетариата.

. . . . .

Штюрмер медленно отравлялся собственной мочой, которая скапливалась в его организме. Борода клином лежала поверх расшитого золотом мундира церемонеймейстера. Штюрмер не спал. Стол его был завален грудами книг о внешней политике России.

— Вот,— сказал он Манасевичу-Мануйлову,— изучил все, что можно, и вижу, что Сазонов ведет Россию не туда, куда ей надо. К тому же... попустительствует... всяким! А сейчас, милейший Иван Федорыч, необходим кулак. Диктатура! Железная, и никаких гвоздей. Потому и не сплю — думаю... исстрадался...

Манасевич вполне искренне (не всегда же он врал!) отвечал экселенцу, что никакая диктатура не спасет положения:

— Бульон уже закипает, осталось бросить в него щепотку соли — и революция начнется: прошу к столу! Вольно же вам читать трактаты и труды Мартенса. А вы бы послушали, что говорят в казармах и на заводах... Продовольственный вопрос — самое главное сейчас. Если он не будет разрешен, все полетит кошкам под хвост.

— Гениальная мысль!

— Тем более что автор этой мысли — гений Григорий Распутин, а он, кстати, недоволен вами. Говорит, что вы решили резвиться сами, а на него — нуль внимания.

— Помилуйте, к чему угрозы? Я ведь, слава богу, покушений на Распутина не устраивал... Не пойму, о чем он хлопочет?

— Гришка, как конокрад, лучше нас чувствует опасность... шкурой! И я узнал нечто удивительное. Вдруг он стал устраивать свои капиталы, Осипенко и Симанович трудятся вовсю, распихивая Гришкины клады по каким-то банкам, каким-то адресам и «малинам»... Тут и Питирим замешан — тоже взял кое-что на хранение от Гришки! Но больше всего Распутин доверяет свои «фунансы» Симановичу.

— Разве Григорий Ефимыч собрался нас покинуть?

— Никуда он не удерет,— со знанием дела отвечал Ванечка.— Все кости Распутина останутся на этой грешной русской земле. Но, между прочим,— шепнул Манасевич,— Распутин обязал меня обратиться к вам: не возьмете ли и вы от него на хранение? Так, ерунда разная: бриллианты... золотишко... какие-то крестики да иконки...

— Конечно! Григорию Ефимычу я не откажу.

Штюрмер отправился на заседание Государственного Совета, где на него накричал военный министр Поливанов:

— Агентура Генштаба доложила, что при возникновении скандалов в злачных местах, где главным героем является Распутин, неожиданно подкатывает автомобиль, Гришку хватают за воротник и увозят прочь от скандала... Мне известно,— чеканил Поливанов — автомобиль этот военного ведомства, а номер его записан за канцелярией премьера государства... За вами, господин Штюрмер! И это безобразие творится, когда на фронте не хватает автомашин.

— Не знаю я никаких авто,— отрекся Штюрмер.

— Разве не Манасевич ведает вашим автопарком?

— Манасевич? — переспросил Штюрмер.— Но, позвольте, я, да, слышал, что такой существует, но... дел с ним не имею.

Он бесстыже отказался от знакомства с начальником своей канцелярии — дальше этого идти уже некуда! Поливанов вернулся в министерство, в кабинете его поджидал с делами начальник Генштаба генерал Беляев (по кличке Мертвая Голова).

— Меня скоро скинут.— Поливанов прошелся по коврам в отчаянно скрипящих сапожках.— Что у вас ко мне?

— Нет колючей проволоки. Оцинкованной.

— Так поставляйте фронту неоцинкованную. Заржавеет — ну и бог с ней! Не на века же создаются проволочные заграждения. А как идет выработка кинжалов для рукопашных схваток в окопах?

— Прекрасно. На нехватку снарядов жалоб уже нет.

— Вот видите! — сказал Поливанов, усаживаясь за стол.— Кое-что я все-таки сделал. Если меня и прогонят, я уйду с чистой совестью.— Беляев заговорил о катастрофической убыли офицеров.— Сами виноваты! — отвечал ему Поливанов.— Начиная с кадетского корпуса мы воспитываем браваду. Папиросу в зубы — и в атаку. А за ним — солдаты. Пулеметы внесли поправку в место офицера на фронте. Будь умнее: пропусти солдата вперед, а сам следуй за ним, как заведено у немцев. У нас же так: первая пуля — бац в офицера!

В кабинет военного министра вплыла красавица, каких Поливанов давненько уже не видывал.

— Баронесса Миклос,— представилась она.

— Очень приятно,— буркнул Поливанов, испытывая желание полистать справочник департамента герольдии, ибо что-то никогда не приходилось ему слышать о таких баронах на Руси...

Миклос поведала этому черствому педанту, что беспокоится не за себя. Дело в том, что для победы нашей дорогой Родины пропадает очень ценное секретное изобретение.

— Я в этом ничего не смыслю,— говорила Миклос, раскрывая ридикюль,— но уяснила лишь одно. Там

главная деталь — дырочка, которая обеспечит России скорейшую победу над Германией.

Сунулась в ридикуль — извлекла нужное: «Милай дарагой послушь дамочку бедная она ей помочь роспутин».

— Вот что! — сказал Поливанов, не вставая.— Сейчас же убирайтесь отсюда вместе со своей вульгарной дыркой.

Баронессу будто ветром сдуло. Поливанов позвонил в комендатуру министерства на первом этаже здания.

— Сейчас мимо вас на цыпочках проследует удивительно элегантная и красивая лахудра. Арестуйте ее...— После чего министр соединился с Сазоновым.— Добрый день, Сергей Дмитриевич, ну, как ваш грипп? Легче? Слава богу... Вы знаете, я сейчас начинаю жалеть даже о Горемыкине! С этим рамолисментом хотя бы до девяти утра можно было о чем-то разговаривать. Он хамил, отказывал, издевался, но это была правда... самая махровая, самая реакционная, но все-таки правда! А я сегодня схватился со Штюрмером, теперь жду, когда меня подцепят на лопату и перебросят через забор.

— Мой милый,— задушевно отозвался с Певческого моста министр дел иностранных,— у меня точно такое же положение. Сейчас возник вопрос о самостоятельности Польши, и здесь я со Штюрмером на ножах... Вся нечисть встает стенкой!

— Сергей Дмитрич, как же дальше-то жить?

— А мы не будем жить. Вы напрасно волнуетесь.

— Почему так?

— Потому что Россия уже не великая держава...

Только успел повесить трубку — звонок от Беляева.

— У меня,— доложил тот,— сейчас был странный разговор. Из Царского позвонила Вырубова, потом к аппарату подошла сама императрица, которая просила меня как начальника Генштаба приложить максимум усилий для защиты Распутина от покушений...

— Это чума! — отвечал Поливанов.— Сейчас на охрану Распутина поставлено семь автомобилей, а если пересчитать всю громадную свору агентов, берегущих его жизнь, то можно составить батальон, способный прорвать линию фронта... Как забастовки?

— Путиловский завод — главная язва. А вот и новость: видели Сухомлинова на перроне Царскосельского вокзала... с женой! Оба были веселые, он ходил гоголем, отчаянно допингируя.

— Это ясно,— сказал Поливанов.— Шантеклер со своей курочкой ездил клевать крупицы милостей. Но его все равно посадят!

Потом, сцепив пальцы, министр думал: «Нет ли тут какой-либо игры Беляева? Кажется, нет...» Но игра была! Распутин рассказывал: «Вот Беляев — хороший министр был бы, что там папашка смотрит! Я маме сказал, что бог его желает, а папашка уперся...»

Авангард пролетариата, путиловские рабочие, бастовали, и забастовка стала главной темой для *закрытого* совещания. Министерские верхи были встревожены — стачка Путиловского завода могла явиться сигналом для всеобщей забастовки в стране. России хотели заткнуть уши, чтобы она не услышала рева путиловских цехов... Штюрмер униженно просил Поливанова: «Умоляю вас в Совете по государственной обороне даже не касаться этого вопроса... Ужасно неприятно!» Поливанов поступил наоборот: отчеты о закрытом заседании он предал печатной гласности, «что,— докладывал Штюрмер царю,— при существующей общей политической обстановке и наблюдаемом в рабочей среде весьма серьезном брожении не может не быть признано чрезвычайно опасным». Алиса истошно взывала к мужу: «Обещай мне, что ты сразу сменишь министра военного — ради самого себя, твоего сына и России!» Распутин продолжал зудить о Поливанове: «Гордый он... все сапогами скрипит, на нервия действует. Нашел чем хвастать! Да у меня сапоги громчей евонных...»

В кабинете военного министра отзвонили старинные часы, еще помнившие времена Кутузова, Барклая, Аракчеева и Ермолова. Вот и письмо от царя: «Алексей Андреевич! К сожалению, я пришел к заключению, что мне нужно с вами расстаться...» По заведенной традиции, рескрипт должен сопровождаться высочайшей благодарностью. Царь отщелкал ответ: «Объявление благодарности отменяю!» Это было уже чистое хамство... Поливанов принял министерство от Сухомлинова в состоянии развала, когда фронты трещали. Он взялся за дела в пору суматошной эвакуации промышленности на Восток, он сумел заново вооружить армию, при нем стабилизировалась линия фронта,— и теперь Россия, заполнив арсеналы, готова к неслыханному наступлению, которое войдет в историю под названием Брусиловский прорыв. Надев шинель и скрипя сапожками, Поливанов удалился — *без благодарности,* как оплеванный...

Постничал в Ставке только один генерал — главный полевой интендант Дмитрий Савельевич Шуваев, честный, старательный работяга. Старик не понимал, за что ему выпала такая честь — сидеть подле самого императора. Царь огорошил его словами:

— Сегодня вы уже мой военный министр...

Постный груздь скатился с вилки на скатерть.

— Ваше величество,— взмолился Шуваев,— да помилуйте, какой же я министр? Сын солдата, иностранных языков не знаю, даже за вашим столом сидеть не умею. Вот служил верой и правдой по разным медвежьим углам да ни одной всенощной не пропустил со своей старухой... Ну, какой я министр!

— Не спорьте со мною,— отвечал царь.— В том, что армия стала одета и накормлена, ваша заслуга. Вы искоренили взяточничество и умеете разговаривать с простым народом...

Очевидец записал: «Шуваев так же вышел в нахлобученной на уши папахе, руки в карманы, животом вперед — и пошел себе домой, как ходил всегда». Верный себе, он обладал простонародной честностью. Когда рука самодержца выводила слова «по высочайшему повелению», Шуваев дерзко останавливал императорскую длань:

— Так нельзя! Я пришел к вам, изложил свои мысли, а вы вдруг — «высочайшее повеление». Да откуда ж оно взялось? Правильнее вам писать так: «По мнению генерала Шуваева...»

Царя коробило от бестактности, но ничего не поде-

лаешь — сам выбрал «постника». Шуваев, размахивая рукой, доказывал:

— Опираться на армию, чтобы противодействовать течению жизни народа, нельзя. Да и вообще, ваше величество, какая у нас, к черту, армия? Возьмут мужика от сохи или рабочего от станка, завернут их в шинель, покажут, как надо стрелять, и вот — в окопы. Это не армия — милиция какая-то... ополчение!

Кажется, царь уже пожалел, что взял богомола Шуваева, а не Беляева с его «мертвой головой». Прибыв в столицу, новый военный министр должен был неизбежно столкнуться с Распутиным.

— Шуваев у аппарата,— сказал он, снимая трубку.

— Это я,— прогудело,— я... Распутин...

— Чего тебе от меня надо?

— Помолиться бы мне за тебя надобно.

— Больше меня тебе не намолиться.

— Поговорить бы... Все мы человеки.

— Приемные дни по четвергам. Запишись, как положено, у адъютанта. Что надо — доложи.

Шуваев велел допустить столичных журналистов.

— Могу сказать одно: дела военного министерства я принял в идеальном порядке, в чем немалая заслуга моего талантливого предшественника — Алексея Андреевича Поливанова...

Солдатский сын оказался благороднее царя!

Была весна, Сухомлинова везли в Петропавловскую крепость — на отсидку. Нельзя узникам спать на домашней перине — ему позволили, нельзя узникам сидеть в мягком кресле — ему привезли кресло. Вместо обычных тридцати минут он гулял по два часа в сутки. Распутин ввел в кабинет царицы рыдавшую Екатерину Викторовну.

— Был чудный теплый вечер,— начала она,— и ничто не предвещало беды. Мой первый муж (негодяй, как выяснилось) абонировал ложу в киевской опере, а мой второй муж (этот дивный человек!) как раз тогда овдовел. Альтшуллер сказал моему второму мужу, что в Киеве появилась красавица, рот которой — точная копия рта второй жены моего второго мужа. Эта красавица с таким ртом была я! В театре он подошел ко мне, и мы сразу воспылали друг к другу. Это была чистая любовь. Боже, сколько грязи потом нанесли к нашему порогу. И вот он... в крепости. За что?!

Алиса взяла платочек для утирания слез.

— Понимаю вас. Я сама изведала черную людскую ненависть. Меня, как и вас, тоже называют германской шпионкой...

11. ВОЙНА ИЛИ МИР!

Конечно, если Россию нельзя из войны выбить, то ее можно из войны вывести. Германская дипломатия передоверила вопрос о мире магнатам промышленности. В канун брусиловского наступления знаменитый капиталист Гуго Стиннес, стоявший у маховика германского военного Молоха, встретился в Стокгольме с японским послом:

— Кажется, пришел момент смены политических настроений. Я думаю, у японцев нет желания продлевать войну с нами, а что касается русских, то в Берлине стало точно известно: двор царя в Петербурге как никогда склонен к мирному диалогу.

Япония, которая вдали от решающих событий Европы, под шумок стряпала свои колониальные делишки на Дальнем Востоке, была совсем не заинтересована в мире, означавшем конец грабежа Кореи и Китая, а потому посол отвечал Стиннесу, что «Япония не нуждается в скороспелом мире». Стиннес ответил ему:

— Но ведь кто-то из воюющих должен первым сказать роковое «альфа»; если никто из нас не возьмет на себя инициативы в делах войны и мира, то мир вообще станет невозможен до тех пор, пока не будет убит последний в мире солдат... Мы надеемся,— заключил Стиннес,— что содержание этой беседы останется в глубокой тайне.

В чем японский посол горячо его и заверил. А когда Стиннес удалился, он снял трубку телефона и позвонил в русское посольство, которое сразу же известилось о германских предложениях мира. Теперь любопытно, как будет развиваться эта политическая интрига далее,— каналы ведь очень глубокие, туннели ведь очень темные. Кто осмелится говорить с немцами о мире?..

...Из клиники Бадмаева Протопопов выходил в широкий мир, веря в чарующую силу «цветка черного лотоса», веря в астральные пророчества хироманта Перрена, включенного в «7-й контрольный список» немецких шпионов!

* * *

Верден — это символ героизма народа Франции...

Итальянцы не имели своих «верденов», и, полностью разгромленные в битве при Трентино, они истерично взывали к России о помощи, иначе — угрожал Рим!— Италия пойдет на заключение сепаратного мира. На конференции в Шантийи союзники договорились, что Россия ударит всей мощью фронтов в июне месяце. Но итальянцы драпали столь быстро, что в Могилеве решились нанести удар по врагу раньше сроков... Императрица знала, что средь генералитета она крайне непопулярна, и потому наведывалась в Могилев чрезвычайно редко. Но в канун Брусиловского прорыва Алиса зачастила к мужу. Главный же в Ставке, конечно, не ее муж, а этот вот неопрятный косоглазый старик с усами в стрелку — генерал Алексеев. После обеда Алиса взяла старикана под руку и сказала ему:

— Погуляйте со мной по саду. Я так люблю природу...

Когда цари о чем-либо просят, понимай так, что они приказывают. В саду губернаторского дома они любовались панорамою зелени на обывательских огородах, дышали и ароматом зацветающих дерев, в которых попискивали могилевские птахи. Алиса возбужденно заговорила, что люди не правы. Люди вообще всегда не правы, но в данном случае они клевещут на Распутина, считая его первоклассным негодяем.

— Старец — чудный и святой человек, он горячо привязан к нам, а его посещение Ставки принесет крупный успех в войне...

Алексеев за время службы при царе немало кривил душою, и не всегда была чиста его воинская совесть.

Но в этот момент старый русский генштабист решил быть честным — он сухо ответил:

— Ваше величество, допускаю, что Распутин горячо к вам привязан, но ежели он появится в Ставке, я немедленно оставляю пост начальника верховного штаба при вашем венценосном супруге.

Императрица никак не ожидала такого ответа.

— Это, генерал, ваше окончательное решение?

— Несомненно,— ответил ей Алексеев...

Из Царского Села ему привезли в подарок дорогую икону, и царица сказала Алексееву, что это дар самого старца.

— Икону от Григория он принял,— рассказывала она мужу,— а значит, бог благословит его штабную работу... Ники, почему ты стыдишься? Не бойся открыто афишировать имя Григория, гордись, что тебя любит такой великий человек.

Брусилов прибыл в Ставку, где встретился с Алексеевым; он решил «торпедировать» Австрию немедленно и, отступая от шаблонов, задумал прорыв фронта в пяти пунктах сразу, чтобы запутать противника, чтобы Вена, будучи не в силах разгадать направление главного удара русских, не могла маневрировать своими резервами.

— Но,— сказал Алексеев,— государь император счел за благо отсрочить прорыв на две недели, и... планы меняются.

— Войска уже на исходных позициях. Где государь?

— Главковерх... спит.

— Разбудите!— потребовал нервный Брусилов.

— Я достаточно смел, чтобы разбудить главнокомандующего, но у меня не хватит храбрости будить самого императора...

Брусилов, на свой страх и риск, пошел ставить Австрию на колени. Он потерял в этой битве шестьсот тысяч солдат, но Габсбурги потеряли их полтора миллиона, а еще полмиллиона неряшливыми колоннами вытекали из дубрав Галиции и Буковины — сдавались в плен; эшелонами их вывозили в глубину русских провинций, где чехи, словаки, хорваты и сербы встретили самый радушный прием у населения... Кажется, что в истории Брусиловского прорыва все уже давно ясно! Но стоит коснуться его подоплеки, как сразу начинаются какие-то тайны. Эти тайны, я уверен, сопряжены с тем, что весной 1916 года Романовы были убеждены в скором наступлении мира. А потому геройский натиск армий Брусилова был сейчас крайне невыгоден царизму. Подозрительно, что остальные фронты не поддержали прорыва войск Юго-Западного фронта... Алиса снова прикатила в Могилев — к мужу.

— Аня передала мне слова нашего Друга, он просит тебя, чтобы ты задержал наступление на севере. Григорий сказал, что если наступаем на юге, то зачем же наступать и на севере? Наш Друг сказал, что видел на севере окровавленные трупы, много трупов!

Царь спросил — это опять «ночное видение»?

— Нет, на этот раз просто разумный совет...

Видя, что Брусилова не схватить за хлястик, царица из резерва вызвала могучее подкрепление в лице Анютки Вырубовой, явившейся в Ставку на костылях и с фурункулом на шее. Если верить Алисе, то Вырубова «тоже принесла счастье нашим войскам»!

— Не спеши,— уговаривала мужа царица,— не надо наступать так настойчиво. Что тебе это даст? Зачем ты трясешь дерево? Подожди осени, и созревший плод сам упадет тебе в руки...

От внушений она переходила к истерике:

— Скажи ты Брусилову, чтобы он, дурак такой, не вздумал залезать на Карпаты... Этого не хочет наш Друг, и это — божье! А еще хочу спросить какой раз: когда ты избавишь нас от Сазонова?

И все время, пока русская армия наступала, Распутин был не в духе, он материл нашу армию, а царя крыл на все корки:

«Ах, отдай приказание Брусилову остановить эту бесполезную бойню,— взывала в письмах императрица,— наш Друг волнуется!» Брусилов не внял их советам — нажимал. Под его командованием русская армия доказала миру, что она способна творить чудеса. В результате Россия, будто мощным насосом, откачала из Франции одиннадцать германских дивизий, а из Италии вытянула на восток шесть дивизий австро-венгерских: коалиция Антанты вздохнула с облегчением. Легенда о «русском паровом катке», способном в тонкий блин раскатать всю Европу, словно хороший блюминг,— эта легенда живуча...

. . . . . .

Корней Чуковский, молодой и обаятельный, открыл дорогу в Англию, где его чествовали как достойного представителя российской интеллигенции (с ним были Набоков и Немирович-Данченко). Переводчик Уитмена и Оскара Уайльда, друг Ильи Репина и Маяковского, писатель острого глаза, он отметил, что «Англию захлестнуло книгами о России, о русском народе. Даже «Слово о полку Игореве» переведено на английский...». Британцы, подобно немцам, были экономны в расходах; газеты пестрели объявлениями — как из старой шляпы соорудить новую, как из газетной бумаги свернуть матрац и одеяло. Английская дама не шила себе туалета, ибо туалет равен стоимости четырех снарядов калибра в 152 мм. Дэнди не рисковал выпивать бутылку шампанского, цена которой — пять винтовочных обойм. Корней Чуковский записывал на ходу: «Проходите по улице и видите вывеску: «Фабрика швейных машин». Не верьте — здесь уже давно собирают пулеметы. Вот другая вывеска: «Венские стулья»... Не верьте и ей — тут фабрикуют ручные гранаты...» После делегации русской интеллигенции британское правительство пригласило и парламентскую. Засим началась политика — довольно-таки кривобокая, ибо, едва ступив на берег Альбиона, профессор истории Милюков не придумал ничего умнее, как заявить англичанам: «Мы не оппозиция его величеству — мы лишь оппозиция его величества...» Бей нас, если мы такие глупые! А возглавлял парламентскую делегацию Протопопов — отсюда он финишировал в историю...

Английский парламент и его нравы потрясли русских думцев. Впереди спикера бежали герольды, согласно древней традиции кричавшие: «Пусть иностранцы уходят! Пусть они уйдут...» Хвост черной мантии спикера несли пажи, на головах секретарей качались седые

букли париков времен Кромвеля. Спикер садился на мешок с шерстью, а депутаты располагались на длинных скамьях, говоря свои речи — без вставания. На все запросы парламента был готовый ответ правительства, и невольно вспоминался Штюрмер, ходивший в павильоне Таврического дворца по стеночке, крадучись, будто кому-то должен, но вернуть долг не в состоянии. Министры, отвечая парламенту, опирались на ящик, в котором лежали Евангелие и клятва говорить правду, только правду, еще раз правду! А вечером, напомнив легенды старого Лондона с ужасами убийств и грабежей, прошли по коридорам солидные привратники, выкрикивая старинный вопрос: «Кто идет домой? Кого проводить до дому?..»

Английские министры спрашивали Протопопова:

— Как могло случиться, что ваша страна, в которой все есть, ничего не имеет и постоянно содрогается в конвульсиях?

— Это наша вина,— отвечал Протопопов.— Мы сами не знаем, чего хотим. Уверен, что все русские в душе жаждут снова иметь на своих шеях Столыпина... Мы нежно тоскуем о диктатуре!

Семь тысяч жирных десятин земли, суконные фабрики, дворянское происхождение, общественное положение и, наконец, блестящее знание английского языка — этот комплекс преимуществ заметно выделял Протопопова средь прочих думцев. Но вдумайтесь: всю жизнь человек провел за кулисами активной жизни, изображая только «голос певца за сценой», и никак не удавалось дать сольный концерт в заглавной роли душки-тенора... Парламентская делегация России вернулась в Петроград 17 июня, а Протопопов задержался по дороге в Стокгольме, и здесь историки ощупью пробираются под покровом занавеса, опущенного над свиданием Протопопова с немецким дипломатом Варбургом. «Навьи чары» заманивали октябриста в туманные дебри войны и мира... На самом деле все было просто!

Шведский банкир Ашберг сказал Протопопову:

— Вас желает видеть представитель германского посольства Варбург, и мы обеспечим тайну этого свидания...

Свидание подготовили три капиталиста: Ашберг — шведский банкир, Гуревич — русский коммерсант, Полляк — нефтепромышленник из Баку (все трое — сионисты!). В стокгольмском «Гранд-отеле» состоялась встреча Протопопова с Варбургом.

— Вы,— начал Варбург,— имели неосторожность поместить в английской прессе статью, что у вас появился новый союзник — голод в Германии. Это не совсем так. Да, у нас карточная система. Но мы рискнули на ограничение продуктов не потому, что испытываем голод. Просто мы, немцы, привыкли все приводить в систему. Мы не пресекаем события, мы их предупреждаем...— При этом Варбург с умом не коснулся карточной системы на сахар в России, ибо он наверняка знал, что как раз в это время Брусилов хотел повесить киевских сахарозаводчиков Бродского и Цейтлина (за то, что они продавали в Германию украинский сахар!).— Война,— продолжал Варбург,— потребует еще немало крови, однако никакой выгоды нашим странам не принесет. Общие очертания границ останутся прежними, но Курляндия должна принадлежать Германии, а не России, к которой она привязана слишком искусственно.

— Латыши не привязаны к нам искусственно,— справедливо заметил Протопопов.— Их давнее тяготение к России известно.

— Латыши,— отвечал Варбург,— это... мелочь!

— Но поляки-то уже не мелочь.

— Верно,— согласился Варбург,— и Польша должна стать самостоятельной... в этнографических границах.

Протопопов отвечал на это весьма толково:

— Если вы обеспокоены созданием Польши в ее этнографических границах, тогда вы сами понимаете, что в состав польского государства войдут и те области Германии, которые населены исключительно поляками... Хотя бы промышленная Силезия!

Варбург сделал крайне изумленное лицо:

— Но в рейхе нет поляков! Поляки есть только в России и в Австрии, а германские поляки, спроси любого из них — и они скажут, что счастливы принадлежать к великой германской нации...

Гнусная ложь! Из-под маски учтивого немецкого дипломата вдруг проступило клыкастое мурло «высшей расы». Далее коснулись Эльзаса и Лотарингии; сербов и бельгийцев Варбург даже чуточку пожалел, а в заключение он бурно ополчился против Англии:

— Эту бойню вызвала к жизни политика лондонского кабинета. Если бы в июле четырнадцатого Англия твердо определила свою позицию — войны бы не было (в чем Варбург отчасти прав). Лондон заварил это гнусное пиво, от которого бурчит в животе у меня и у вас. Так не лучше ли вам, русским, отвернуться от вероломной Англии и обратиться к нам с открытым забралом?..

Нащупывая скользкую тропинку к миру, беседу вели два видных капиталиста — Протопопов с его ситцевыми фабриками и Варбург, гамбургский банкир, который до войны обслуживал германские интересы в Русско-Азиатском банке. Скреплял же их рукопожатие Лев Соломонович Полляк — директор правления нефтепромышленного общества «Кавказ», он же директор московского филиала нефтепромышленного общества «Мазут» (нефть и мазут — кровь XX века!).

В бадмаевской клинике его встретил Распутин.

— А ты с башкой!— похвалил он Протопопова.

— Пациент очень дельный,— согласился Бадмаев.

— Сашка,— сказал генерал Курлов,— ты имеешь на руках такие козыри, что будешь полным кретином, если сейчас продуешься...

— Я мечтаю о министерстве торговли и промышленности, и я уверен, что Дума и Родзянко поддержат мою кандидатуру.

— Нашел о чем мечтать! Пуды-то да фунты мерить? Пойми: эм-вэ-дэ — это пупок всей власти...

«Голос певца за сценой» приближался. Боже мой, как он исполнит свою арию! Самое удивительное, что Протопопов не сфальшивит.

Распутин был такой пьяный, что когда Вырубова звонила ему из Царского Села, спрашивая о том думце,

что ездил в Англию и задержался проездом в Стокгольме,— тогда Гришка, не будучи опохмелен, все перепутал и переврал фамилию Протопопова:

— Калинин, кажись...

Царю так и доложили, что с Варбургом беседовал Калинин.

— Калинин? — удивился царь.— Но я такого не знаю...

Об этом Протопопову поведал огорченный Бадмаев:

— Напился, свинья... Даже фамилию друга забыл. Сколько раз я ему твердил: не пей — сам погибнешь и всех нас погубишь.

Протопопов, громко рыдая, звонил на Гороховую:

— Как вы могли? Меня, дворянина, мало того, предводителя дворянства, и вдруг... так подло извратили мою фамилию!

— Да не серчай... Стока народу крутится, рази всех тут упомнишь! А чем тебе, дураку, плохо быть Калининым?

Под этой кличкой он и был зашифрован в Царском Селе.

12. ГОЛОСА ПЕВЦОВ ЗА СЦЕНОЙ

Бадмаев нашептал Протопопову:

— У меня был Распутин и, кристально трезвый, сказал, что его «осенило» в отношении вас. Он сейчас недоволен автономностью Штюрмера, а вы... Почему бы вам не стать премьером?

— Господи!— отвечал Протопопов.— Что так много обо мне разговоров? Мне светит звезда министра торговли.

— Слушайтесь Пашу: хватайтесь за эм-вэ-дэ...

В этом тоже была подоплека. За время «безработицы» Курлов так много задолжал Бадмаеву, что тот был в отчаянии. Провести жандарма в МВД врач не мог, но зато можно провести Протопопова, Сашка потянет за собой Пашку, и тогда Курлов вернет долги... Логика железная! А по законам Российской империи, человек, не оплативший векселей, не вправе занять пост министра. «Протопопов — наша последняя карта». Именно так было решено в кругу сионистов, и они сразу же, без промедления, схватили его за жабры. Симанович, скромно именовавший себя «евреем без портфеля», нагло заявил кандидату в министры внутренних дел, что в любой момент они могут объявить его несостоятельным должником.

— Ваши векселя у меня,— сказал ювелир.

Николай II как раз вызывал Протопопова в Ставку, все складывалось столь удачно, и вдруг... эти векселя! «Навьи чары» скользили за окном, оплывая, словно воск старинных свечей.

— Дайте мне сто пятьдесят тысяч,— взмолился Протопопов.

— Дадим! Но вы ж не погасили прежних долгов.

— О боже!— закатил глаза Протопопов.— Сразу, как я стану министром, я верну вам все... все-все, даже с лихвою!

Свидания Протопопова с еврейской мафией происходили тайно в доме № 44 по Лиговке, где жила княгиня Мария Мышецкая, урожденная Мусина-Пушкина (двоюродная сестра Протопопова). Сионисты уже поддели на крючок запутавшегося в долгах Добровольского, теперь зацепили за кошелек и Протопопова... Симанович писал: «Мы взяли с него обещание что-нибудь сделать для евреев. Мы заверили его, что почва в этом отношении уже подготовлена нами и дальнейший успех зависит исключительно от его ловкости и умелости...» Протопопов сказал, что в разговоре с царем хотел бы в первую очередь коснуться злободневного «продовольственного вопроса», но Симанович грубо пресек его:

— Сначала — евреи, а жратва — потом...

«Еврейский вопрос» — это выдумка! Российскую империю населяло множество угнетенных народов, так или иначе бесправных. Если вникнуть в суть дела, то якуты имели еще больше прав на выдвижение якутского вопроса, таджики могли поставить свой — таджикский, армяне — армянский, а чукчи — чукотский... Да и о каком, спрашивается, «бесправии» могли толковать рубинштейны и манусы, гинцбурги и симановичи, владевшие банками, державшие конторы на Невском, хозяева редакций и универсальных магазинов? Может, их беспокоила трагическая нужда сапожника Ицека Хаймовича из заштатной Хацепетовки? Или они тревожились за бердичевского портного Мойшу Шнеерзона, сгорбленного над перелицовкой задрипанных штанов? Леонид Утесов, сын одесского еврея, описал нам только одну ночь своего отца, проведенную им без права жительства на скамейке в садах Петербурга,— и это действительно страшно! Но подлинно бесправные евреи-труженики никогда и не были сионистами: напротив, все свои надежды на равноправие они возлагали на единение с русским народом, который сокрушит систему угнетения множества больших и малых народов империи.

Звонком по телефону Штюрмер объявил Протопопову, что сегодня вагон будет подан — можно ехать. Протопопов накануне не выспался, так как всю ночь провел в салоне госпожи Рубинштейн, страстной спиритки, и сообща они вызывали могучий дух Столыпина, который под утро явился к ним и произнес в утешение одно коротенькое слово из трех букв, на что банкирша сказала: «Это он... Как же я сразу не догадалась?» Александр Дмитриевич, изможденный, заснул на плюшевых диванах купе, разбудил его визг тормозов.

— Ставка!— объявили ему...

Могилев встречал его клубами паровозного дыма из распахнутых ворот депо, серыми досками перрона, рыхлыми заколоченными дачами на огородных окраинах... Вот первый вопрос императора:

— Вы видели английского короля Георга Пятого? Скажите, так ли я похож на него лицом, как это все говорят мне?

— Ваше величество,— отвечал Протопопов,— это не вы похожи на него, это он старается походить на вас...

Царю такая лесть показалась приличной (хотя Протопопов украл остроту у Виктора Гюго). Позже он дал показания: «У меня был довольно долгий разговор с государем... после обеда он мне сказал: «А теперь

мы поговорим». Я ему подробно говорил о еврейском вопросе... потому что я его довольно широко поставил!» Сейчас его больше волновало свидание Протопопова с Варбургом, но коли уж завели разговор о евреях, Николай II поддержал эту тему, не догадываясь, что в данном случае он, император, оплачивает те самые векселя, которые были учтены Аароном Симановичем и его компанией... Протопопов сумел произвести на государя приятное впечатление, ибо помнил слова Курлова о козырях, которые попадают в руки игрока не так уж часто. На прощание государь сложил руку дощечкой и протянул ее:

— Александр Дмитриевич, благодарю вас от души. А вы уже посетили госпиталь моей супруги? Как он вам показался?

Тут Протопопов понял, что хоть сам без штанов оставайся, но сто тысяч рублей надобно подарить государыне, а это значило, что предстоит и дальше залезать в долги к Симановичу...

1 июня Штюрмер был назначен *диктатором!* Указ об этом ордонансе русской истории царь уже заготовил, но опубликовать его не решился. Выжидал. А генералы в Ставке выковывали свою диктатуру — *военную,* замышляя свержение Николая II и заточение его жены, чтобы передать власть русской буржуазии. Самодержавие еще существовало, но в преисподней царизма уже вызревали будущие режимы корниловщины, деникинщины и колчаковщины... Лето 1916 года — жаркое, удушливое, бурные теплые ливни не освежали земли.

Люди, близко знавшие Николая II, писали, что царь вообще никого (кроме сына) не любил. Он имел собутыльников, но друзей — никогда! Вокруг него было много убежденных монархистов, но мало кто из них уважал самого монарха. Двор, как это ни странно, стоял в глухой оппозиции к царскому семейству. А родственный клан Романовых, великие князья и княгини, с показной нарочитостью подчеркивал свою обособленность от Царского Села. Престолонаследник, мальчик Алексей, однажды спрашивал у матери:

— Почему у всех есть бабушки, а у меня нету?

— Не болтай глупостей,— отвечала императрица.— Твоя бабушка не любит нас, и ты ей не нужен...

Алиса обладала особым талантом — она умела вызывать к себе ненависть людей, даже любящих ее. Великая княгиня Елизавета Федоровна (Элла Гессенская) навестила как-то Царское Село и сказала сестре, что ее, императрицу, очень не любит вся Россия.

— Я тоже так думала,— отвечала Алиса.— Но теперь убедилась в обратном. Вот целая пачка писем от простых русских людей, которые видят лишь свет моих очей, уповая на одну лишь меня... А ненависть я испытываю только от столичного общества!

Правда, она не знала, что Штюрмер сам писал такие восторженные письма, якобы от имени простонародья, и через охранку рассылал их по почте на имя царицы, а она взахлеб читала: «О мудрейшая мать Отечества... о наша богиня-хранительница...»

— Лучше б я не приезжала,— сказала Элла.

— И уезжай с первым же поездом,— ответила ей сестра...

В этом году с треском проваливалась монархическая кинопропаганда, затеянная Хвостовым. Едва лишь на экране показывалось царское семейство, как в зале раздавались смешки:

— Царь — с Георгием, а царица — с Григорием...

Сначала на кинозрителей напустили полицию. В зале вспыхивал свет и следовал грозный окрик:

— Кто посмел отзываться неуважительно?

Молчание. Гас свет. На экране снова возникали фигуры царя и царицы. И темноту опять оживлял людской говор:

— Царь-то — с Георгием, а царица — с Григорием...

Лето 1916 года было для царя временем вялым, пассивным, пьянственным. Лето 1916 года было для его жены периодом активным, деятельным, настырным. Словно челнок в ткацкой машине, Алиса сновала между Царским Селом и Ставкою в Могилеве, интригуя отчаянно (шла сортировка людей на «наших» и «не наших»). Распутин утешал императрицу, что на случай революции у них есть верное средство: «Откроем фронт перед немцами, и пущай кайзер сюды придет и порядок учинит. Немцы, они люди строгие... не балуют!» Спасти могло и заключение мира. «Сазонов мне надоел, надоел, надоел!» — восклицала царица. Николай II вполне разумно доказывал ей, что отставку Сазонова трудно объяснить союзникам по коалиции. Министр иностранных дел сейчас столкнулся со Штюрмером! Штюрмер был против автономии Польши, а Сазонов стоял на том, что после войны Польша должна стать самостоятельным государством, и он все-таки вырвал у царя манифест о «братских чувствах русского народа к народу польскому». Торжествуя, Сазонов отъехал в Финляндию, чтобы послушать шум водопадов и успокоить свои нервы. «Я хочу выспаться»,— говорил он...

А Распутин все бубнил и бубнил о Сухомлинове:

— Старикашка-то за што клопов кормить обязан? Ежели всех стариков сажать, так кудыть придем?

Алиса призвала к себе министра юстиции Александра Александровича Хвостова, который был родным дядей бывшего министра внутренних дел («убивца!»). Два часа подряд она размусоливала ему о невинности Сухомлинова, потом, возвысив до предела свой голос, требовала: «Ie veux, j'exiga quit soit libere» (Я хочу, я требую, чтобы он был освобожден). Хвостов не соглашался: суд был, суд приговор вынес, а он не может освободить преступника.

— Почему не можете? — кричала царица.— Вы не хотите освободить, ибо об этом прошу вас я! Вы просто не любите меня.

— Но ведь у меня тоже есть моральные убеждения.

— Не нуждаюсь в них. Вы освободите Сухомлинова?

— Нет.

— Ох! Я устала от всех вас...

На место нового министра юстиции она подсадила А. А. Макарова, что был министром внутренних дел сразу после убийства Столыпина. Макарову о его назначении сообщил Побирушка, которому анекдотическая ссылка в Рязань пошла на пользу: он еще больше растолстел.

— Вы вот спите,— упрекнул его Побирушка,— а я

кое-где словечко замолвил, и — пожалуйста: правосудие России спасено!

— Удивляюсь,— отвечал Макаров.— Ведь я знаю, что в самом грязном хлеву империи уже откармливают на сало хорошего порося — Добровольского, и он во сне уже видит перед собой обширное корыто с невыносимым пойлом... Как ошиблась императрица! А куда смотрел Распутин, которого я ненавижу всеми фибрами души?

— Распутин, кажется, проморгал...

Узнав о назначении Макарова в министры юстиции, Гришка заревел как бык, которого хватили обухом между рогами.

Макарова провели в юстицию Штюрмер с царицею, словно забыв, что этот человек — враг Распутина! Гришка слег в постель, велел Нюрке набулькать в кухонный таз мадеры и стал пить, пить, пить... Один таз опорожнил — велел наполнить второй.

— Да вить лопнешь, дядя! — сказала племянница.

— Лей... дура. Много ты понимаешь!

До себя он допустил только Сухомлинову.

— Вишь, как стряслось! — сказал, лежа на кровати в новой рубахе и разглядывая яркие носки сапог.— Я бы твоего старичка из крепости выдернул. Да тута Макаров, анахтема, влез в юстицку, быдто червь в яблоко, а я, глупый, Добровольского-то уже намылил, штобы проскочил без задержки... Эхма, сорвалось!

Между Царским Селом и царскою Ставкой шло как бы негласное состязание — кто кого пересилит? Императрица свергла из юстиции А. А. Хвостова и провела в юстицию А. А. Макарова. Тогда генералы взяли уволенного А. А. Хвостова и сделали его министром внутренних дел. Игра шла, как в шашки: «Ах, ты сюда сходила? Ну, так мы сюда пойдем...» Распутин в эти дни сказал:

— Ша! Боле переменок не допущу. Папашка глупостей там наделает. Его, как ребенка малого, без призору одного оставить нельзя. Завтрева же мамашку настропалю и пущай в Могилев катит.

Было два часа ночи — на квартире Манасевича-Мануйлова зазвонил телефон. Ванечка неохотно снял трубку.

— Кой черт меня будит?

— Не лайся. Это я, Распутин.

— А что у тебя?

— Приезжай.

— Ты один?

— Нет, тут Софка Лунц, ее завтра в больницу кладут.

— Ладно. Приеду.

Сухомлиновой не было — ее заменяла Софья Лунц, красивая пожилая еврейка, жившая с того, что Распутин оплачивал ее любовь рублями — как уличной потаскухе.

— Что случилось? — спросил Ванечка, входя.

— У нас дикие неприятности,— сообщила Лунц.

Ванечка еще никогда не видел Гришку таким растерянным, его глаза призрачно блуждали, движения были вялыми.

— Хоть беги,— сказал он.— Такие дела... Глаза б мои не глядели! Макарова без меня провели — он и насобачил. Борька Суворин стрельбу на Невском открыл, а юстицка эта вшива взяла да арестовала — кого бы ты думал? — самого умного банкира...

Был арестован банкир царицы Митька Рубинштейн!

— А тут еще Софку в больницу кладут...

— Ну, со мною-то все обойдется,— сказала Лунц, закуривая.— Одно-два прижигания, и я снова здоровая. А вот с Митькой Рубинштейном предстоит повозиться. Шум будет страшный...

Софья Лунц легла в больницу, куда к ней повадился шляться и Распутин. По стремянке он влезал в палату второго этажа через окно. Откуда такое пылкое нетерпение — не понимаю! Но врачи накрыли их в темноте, и санитары, мужики здоровущие, Распутина вышибли в окно, а болящую даму спустили с лестницы... Эта мадам Лунц должна — по планам Симановича — начать действовать лишь тогда, когда в министры пройдет Протопопов...

. . . . . .

Граф Витте уже второй год лежал в могилке, а бомба замедленного действия, подложенная им под «Новое время», сработала только сейчас. Лунц не ошиблась: шум был страшный... Прохожие на Невском проспекте услышали звон разбитых стекол — это вылетели окна в клубе журналистов и на подоконнике показалась фигура Борьки Суворина в клетчатых брюках лондонского фасона. Прохожие шарахнулись в разные стороны, когда отважный издатель открыл трескучую канонаду из револьвера, крича при этом:

— Люди русские! У меня нет другого выхода, как иначе привлечь внимание передовой русской общественности... Жидовня поганая захватила мою газету! Слушайте, слушайте, слушайте...

Закрутилась машина полицейского сыска, и Макаров удивился, когда узнал, что акции «Нового времени» — в руках Рубинштейна. Подпольные связи сионистов уводили очень далеко — вплоть до Берлина... Вскормленный с острия юридического копья, пеленутый в протоколы полицейских дознаний, Макаров ткнул в букву закона:

— Вот! Немедленно арестовать Рубинштейна с братьями, взять под стражу его агента, журналиста Лазаря Стембо из «Биржевых ведомостей», который служил секретарем в германофильском салоне графини Клейнмихель, урожденной графини Кёллер...

«Это дело вызвало внимание всей России,— писал Аарон Симанович.— Все евреи были очень встревожены. Еврейство устраивало беспрерывные совещания, на которых говорилось о преследованиях евреев... Я должен был добиться прекращения дела Рубинштейна, так как оно для еврейского дела могло оказаться вредным». Первым делом Симанович подцепил под локоток жену Рубинштейна и привел ее на Гороховую, где миллионерша горько рыдала, расписывая все ужасы гонений на ее бедного мужа... Она говорила:

— Страшный антисемитизм! Такого не было и при Столыпине.

— Едем! — кричал Распутин, хватая шапку.

Царица приняла их в лазарете, еще ничего не зная. А когда узнала, что Рубинштейн арестован, у нее перекосило рот. Военная комиссия генерала Батюшина

взяла дело Рубинштейна в свои руки, контрразведка Генштаба могла вытряхнуть из банкира всю душу, и тогда откроется, как она, императрица, переводила через Митьку капиталы во враждебную Германию... Запахло изменой и судами!

— Я еду в Ставку,— сказала она жене Рубинштейна.— Обещаю вам сделать все, чтобы пресечь антисемитские злодейства.

А Макаров и Батюшин уже докопались, что Рубинштейн через банки нейтральных государств выплачивал деньги кредиторам, состоявшим в германском подданстве. Он очень ловко спекулировал хлебом на Волге, искусственно создавая голод в больших городах России, он играл на международной бирже на понижение курса русских ценных бумаг, он продавал — через Персию — русские продукты в Германию, он закупал продукты в нейтральных странах и кормил ими немецкую армию... Лязгнули запоры камеры — Митька Рубинштейн встал, когда увидел входившего к нему министра юстиции.

— Александр Александрович,— сказал он Макарову,— я же ведь директор «Русско-Французского банка», и Россия просто не сможет воевать без меня... Я — тончайший нерв этой войны.

— Вы... грыжа, которую надо вырезать.

— Но в Царском Селе широко известна моя благотворительная деятельность на пользу солдатских сироток. Наконец...

— Наконец,— перебил его Макаров,— сидеть в столице вы не будете. Я запираю вас в псковской каторжной тюрьме!

Макаров, сам того не ведая, нанес по распутинской банде такой удар, от которого трещали кости у самой императрицы. Она приехала в Могилев возбужденная; вот ее подлинные слова: «Конечно, у Митьки были некрасивые денежные дела, но... у кого их нету? Будет лучше, Ники, если ты сошлешь Рубинштейна в Сибирь, но потихоньку, чтобы не оставлять его в столице для раздражения евреев... А знаешь, кто его посадил? Это же так легко догадаться — Гучков (!), которого я так страстно желала бы повесить...»

Дался ж ей этот Гучков, которого она видела не сидящим, не лежащим, а непременно повешенным. Как же ей, хозяйке земли Русской, освободить Сухомлинова и Рубинштейна? Распутин сказал:

— Чепуха! Сменим Макарова — поставим Добровольского... А что? Выкручиваться как-то ведь надо. Юстицка — это юстицка...

. . . . . .

Сазонов отдыхал в Финляндии, когда Палеолог навестил министерство иностранных дел; посла принял товарищ министра Нератов, человек недалекий и крайне осторожный. Тем более было странно слышать от этого сдержанного чиновника несдержанное признание:

— Кажется, мы потеряем Сазонова...

Был зван на помощь и английский посол Бьюкенен.

— Я и Палеолог,— сказал он,— что могли бы сделать мы лично, дабы предупредить отставку Сазонова?

— Вы ничего не сделаете,— отвечал им Нератов,— ибо одно лицо, близкое к верхам, информировало меня о том, что проект указа об отставке Сергея Дмитриевича уже заготовлен.

— Какова же причина будет указана?

— Кажется, мигрень и... бессонница Сазонова.

Дипломатический мир Антанты пребывал в тревоге, которую легко объяснить. Сазонов был вроде сиделки при родах войны, Сазонову же предстояло, казалось бы, устранить ее грязный послед...

Нератов предупредил послов:

— На место Сазонова готовится... Штюрмер!

Штюрмер встретил Палеолога на улице, восклицая:

— Никакой пощады злейшему врагу человечества! Никакой милости Германии! Моя горячо любимая, моя православная Русь вся, как один человек, грудью встает на борьбу с вандализмом кайзера...

Фразеология вредна. А патриотизм, как и юношеская любовь,— чувство крайне стыдливое. О любви не кричат на улицах.

13. «ПРО ТО ПОПКА ВЕДАЕТ...»

Когда портфель с иностранными делами оказался в руках Штюрмера, германская пресса взвыла от восторга — царизм помахал Берлину белым флагом. Но кого угодно, а Штюрмера Антанта переварить не могла. С берегов Невы радиостанция «Новая Голландия» пронизывала эфир импульсами срочных депеш, которые подхватывала антенна Эйфелевой башни в Париже. Под страшным напряжением политики гудел электрокабель, брошенный англичанами в древние илы океанских грунтов — от барачного поселка Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск) до респектабельного Лондона...

Сазонов воспринял отставку спокойно. Бьюкенен отправил в здание у Певческого моста письмо — угрожающее:

«Если император будет продолжать слушаться своих нынешних реакционных советчиков, то революция, боюсь, является неизбежной. Гражданскому населению надоела административная система, которая в столь богатой естественными ресурсами стране, как Россия, сделала затруднительным для населения... добывание многих предметов первой необходимости даже по голодным ценам».

Летом 1916 года на полях России вызревал неслыханный урожай, какой бывает один раз в столетие. Этот урожай соберут весь — до зернышка! Бабы, мальчишки и старики. Но вот куда он денется — черт его знает... Костлявые пальцы голода уже примеривались удушать детей в младенческих колыбелях.

. . . . . .

Осознав мощное закулисное влияние Распутина на министерскую чехарду, англичане, верные своей практике, подсадили к нему шпиона. Это была изящная леди Карруп, прибывшая в русскую столицу с мольбертом и кистями, имея задание от Интеллидженсервис написать с Гришки портрет. Всегда падкий на любую славу, Распутин охотно позировал, а леди, орудуя кистью, занималась «промыванием» Гришкиных мозгов. Слово за слово — и политическое кредо Распутина прояснилось. Он обогатил сознание леди известием, что

все русские министры — жулье страшное, что царь — из-за угла пыльным мешком трахнутый, что «царица — баба с гвоздем», а России надобно выйти из войны и устраивать внутренние проблемы.

— Чтобы народец не закочевряжился! — сказал Гришка.

Леди Карруп не мечтала о славе Виже-Лебрен или Анжелики Кауфман,— портрет писался ею сознательно долго — до тех пор, пока Распутин не выбросил художницу на лестницу со словами: «Я вижу, чего ты хочешь! Да посмотри на рыло свое — кожа да кости...» Портрет остался неокончен, и заодно с бюстом Распутина работы Наума Аронсона он дополнил небогатую иконографию Григория Ефимовича. Но это все может скорее заинтересовать искусствоведов, а мы пишем роман политический.

Мунька Головина с папиросой в зубах исполнила для Гришки мещанский романс, аккомпанируя себе на раздрызганном рояле.

— Тары-бары-растабары, — сказал Распутин.— Что делать со Штюрмером, ядри его лапоть, ума не приложу. Избаловался. Козелком решил прыгать... без меня травку щиплет!

— Господи,— вздохнула Мунька,— так сбрось его.

С отчетливым стуком хлопнула крышка рояля.

— Протопопова надо скорей вздымать,— решил Гришка.— Правда, мозги у него крутятся, ажно страшно бывает. Но я его, сукина сыночка, так взнуздаю, что он света божьего невзвидит...

Были первые числа августа. Расстановка имперских сил не радовала распутинского сердца. Штюрмер — премьер и «наружный». Макаров правит в юстиции, на место «унутреннего» посадили дядю Хвостова, смещенного с юстиции, а генерал Алексеев (чтоб он костью подавился!) иконку от Распутина поцеловал, но никаких серьезных выводов для себя не сделал... Так дальше дело не пойдет.

До самой осени русская Ставка не ведала стратегических «сновидений» от Распутина — он был целиком поглощен делами своими, делами Сухомлинова и Рубинштейна; лишь иногда царица долбила царя по темени, чтобы он задержал Брусилова: «Ах, мой муженек, останови это бесполезное кровопролитие, почему они лезут словно на стенку?» Карпаты, утверждала она, нам ни к чему, генералы сошли с ума, министры дураки, а косоглазый Алексеев вступил в тайную переписку с Гучковым, которого давно надо повесить. В письмах царицы часто мелькали буквы — П., Р. и Б. (Протопопов, Распутин и Бадмаев); ея величество высочайше изволили подсчитать, что Гучков ровно в 40 000 000 раз хуже любого разбойника...

Математика — наука точная! Неужели?

. . . . . .

Макаров говорил, что подкуплен был единожды в жизни — Побирушкой, устроившим его сына в институт. Министр юстиции полагал, что темные нечистые силы влияния на него не оказывают. Во всяком случае, посадив в тюрьму Митьку Рубинштейна, он нацелил свое недреманное полицейское око на Манасевича-Мануйлова.

— Мне попалось досье на вас, милейший Иван Федорович, а вас давно требуют выдать правительства Италии и Франции.

— За что?

— За мошенничества.

— Если давно требуют, так чего ж давно не выдали?

— А я вот возьму да выдам.

Обыски и аресты были обычны; посадить человека стало так легко, будто прикурить от спички. Манасевич пребывал сейчас в азарте накопления. Война — удобное время для наживы, а «бараны,— говорил Ванечка, не стесняясь,— на то и существуют, чтобы их стригли». Меньше двадцати пяти тысяч рублей он не брал. Счета в банке росли, как квашня на дрожжах. Посредничая между мафией и банками, между Штюрмером и Распутиным, между Синодом и кагалом, он скоро зарвался. Как и все крупные аферисты, Манасевич попался на ерунде! Он и раньше шантажировал банки, откупавшиеся от него плотными пакетами. Сейчас он провоцировал Московский банк, который взятку ему дал, но — по совету Макарова! — записал номера кредитных билетов. Ванечку арестовали на улице Жуковского, когда он с Осипенко выходил из подъезда своего дома. Загнали обратно в квартиру, учинили обыск и нашли пачку крупных купюр с уличающей нумерацией... Отвертеться трудно — повели в тюрьму! Штюрмера в это время не было в столице. Ванечка один глаз открыл пошире, а другой плотно зажмурил, симулируя приближение «удара» (так называли тогда современный инфаркт). Арест и следствие проводили военные власти под наблюдением министерства юстиции... Распутин в ярости названивал в Царское Село — Вырубовой:

— Макаров, анахтема, погубить меня удумал! Ведь Ванька-то моей охраною ведал... Как же я теперь на улице покажусь? Ведь пришибут меня, как котенка. Ой, жулье... Ну, жулье!

Манасевич сел крепко, и царица кричала:

— Боже мой, что делается! По улицам безнаказанно бродят тысячи мерзавцев, а лучших и преданных людей сажают...

Манасевич прикрывал аферы Рубинштейна, он страховал царицу из самых глубоких тылов — из недр полиции из туннелей охранки, скажи он слово — и все лопнет... Распутин был подавлен.

— Ну нет! — сказала ему императрица.— Пока Макаров в юстиции, я вижу, что помереть спокойно мне не дадут.

— Вот вишь,— отвечал Гришка,— что случается, кады министеров ты, мамка, без моего благословения ставишь...

Алиса придвинула к себе лист бумаги: «Макарова можно отлично сместить — он не за нас... Распутин умоляет, чтобы скорее сместили Макарова, и я вполне с ним согласна». Алиса рекомендовала мужу подумать над кандидатурой Добровольского, за которого Симанович ручается, как за себя; на это царь отвечал, что Добровольского знает — это вор и взяточник, каких еще поискать надо.

— Ах, господи! — волновалась царица.— Когда это было, а сейчас Добровольский живет на одном подаянии. Вор и взяточник? Но, помилуйте, фамилия Добро-

вольских очень распространенная... Может, вор и взяточник его однофамилец?

Царь проверил и отвечал — нет, это тот самый!

Положение осложнялось. Распутин негодовал:

— Ну и жистя настала! Хотел в Покровское съездить, так не могу — дела держут. Пока Сухомлинова, Митьку да Ваньку из-за решетки не вытяну, домой не поеду... Буду страдать!

Из Ставки вернулся в столицу Штюрмер и не обнаружил начальника своей канцелярии. Лидочка Никитина сказала:

— Увели его.

— Кто посмел?

— Старый Хвостов указал, а Макаров схватил...

Штюрмер срочно поехал обратно в Ставку, вернулся радостный, сразу же позвонил А. А. Хвостову-дяде.

— Вы имели удовольствие арестовать моего любимого и незаменимого чиновника — Манасевича-Мануйлова, а теперь я имею удовольствие довести до вас мнение его величества, что вы больше не министр внутренних дел... Ну, что скажете?

Телефон долго молчал. Потом донес вздох Хвостова:

— Да тут, знаете, двух мнений быть не может. Я верный слуга его величества, и если мне говорят «убирайся», я не спорю, надеваю пальто, говорю «до свиданья», и меня больше нету...

Потом Штюрмер позвонил на квартиру Протопопова.

— Александр Дмитрич, я имел с государем приятную беседу о вас... Подтянитесь, приготовьтесь. Вас ждут великие дела! — В ответ — молчание.— Алло, алло! — взывал Штюрмер.

Трубку переняла жена Протопопова.

— Извините, он упал в обморок. Что вы ему сказали?

— Я хотел только сказать, что он — эм-вэ-дэ!

— С моим мужем нельзя так шутить.

— Мадам, такими вещами не шутят...

Манасевич-Мануйлов на суде тоже не шутил.

— У кого в жизни не бывало ошибок? — защищался он.— Меня обрисовали здесь хищником и злодеем. Но моя жизнь сложилась так, что, служа охранке, я больше всех и страдал от этой охранки...

Суд присяжных заседателей признал его виновным по всем пунктам обвинения, в результате — получи, дорогой, полтора года арестантских работ и не обижайся. Ванечка зажмурил и второй глаз, симулировал «удар». Из суда его вынесли санитары на носилках... «На деле Мануйлова,— диктовала царица в Ставку,— прошу тебя надписать ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО...» Выбубовой она сказала:

— Просто я не хочу неприятных разговоров в Петрограде, о нас и так уже много разной чепухи болтают в народе...

...Манасевича-Мануйлова освободит Протопопов!

. . . . . .

Из показаний Протопопова: «Распутин, которого я видел у Бадмаева, сказал, что его «за меня благодарили»... все дело случая отношений моих к Бадмаеву и Распутина к нему же, а затем к Курлову и ко мне. В это же время я услышал от Распутина фамилию Добровольского как министра юстиции. Вскоре я уехал в Москву и в деревню; приблизительно через недели три, около 1 сентября 1916 года, получил депешу от Курлова: «Приезжай скорее».

Курлов сам и встречал Протопопова на вокзале.

— Венерикам всегда везет — езжай в Ставку.

— Паша, я боюсь... Мне так страшно!

— Не валяй дурака,— отвечал Курлов.

В вокзальном буфете октябрист взял стаканчик сметаны и булочку с кремом. Подле него сидел с унылым носом «король русского фельетона» Власий Дорошевич, похмелявший свое естество шипучими водами; он сравнил Протопопова с бильярдным шаром:

— Сейчас вас загонят в крайний правый угол.

— Но я никогда и не считал себя левым.

— Тогда все в порядке: вам будет легко помирать...

При свидании с царем Протопопов увидел всю Россию у своих ног, и Николай II утвердил его в этом святом убеждении.

— Я вручаю вам свою царскую власть — эм-вэ-дэ!

Правительство давно мучили кошмары «хвостов» — длинные очереди (хлебные, мучные, мясные, мыльные, керосинные). На первое место вставал продовольственный вопрос, удушавший бюрократию. Протопопов с темы голода все время перескакивал на евреев, но на этот раз царю было не до них — он упрямо гнул свою линию.

— Ваши связи в промышленных кругах,— говорил он,— помогут вам возродить доверие фабрикантов лично ко мне. Я вижу в вашем назначении приятное сочетание внутренней и биржевой политики. А ваша горячность меня растрогала!

— Все так неожиданно...— бормотал Протопопов.

— А как вы относитесь к Распутину? — спросил царь.

— Дай бог всем нам побольше таких Распутиных...

Эти слова были пропуском через все кордоны. Николай II умел очаровывать людей, а Протопопов очаровал царя — своей восторженностью, будто он — мальчик, получивший красивую игрушку на рождество, свечечки на елке уже зажжены и сейчас ему, как примерному паиньке, подадут сладкое... Возвратившись из Ставки в Петроград, он на перроне вокзала возвестил журналистам:

— Все свои силы я отдаю охранению самодержавия...

Ни одной фальшивой ноты в его голосе не прозвучало; слова Протопопова — не декларация, это естественный крик души, желавшей подпереть шатающийся трон Романовых. Затем он сделал заявление, что никакой своей политики вести не намерен — лишь будет следовать в фарватере политики кабинета Штюрмера.

— Жизни своей не пощажу,— искренно рыдал Протопопов,— но я спасу древний институт русской монархии!

В «желтом доме» на Фонтанке, где министры мелькали, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе, царил невообразимый кавардак. Никто не знал, где что лежит. Стопы неразобранных дел росли под потолок — будто сталагмиты в доисторических пещерах. Протопопов первым делом позвонил в клинику Бадмаева:

— Петр Александрович, а Паша у вас?.. Паша, здравствуй, это я, Сашка! Слушай, не дай погибнуть — спасай меня...

Курлов явился в МВД — властвовать! При нем Протопопов начал барабанить в Таврический дворец — председателю Думы Родзянке:

— Поздравьте! Я уже здесь! Я звоню с чистым сердцем! Так я рад, что стал министром внутренних дел...— Потом он обалдело сказал Курлову: — Ты знаешь, что мне этот гужбан ответил? Он ответил: «У меня нет времени для разговоров с вами...»

— Короче,— спросил Курлов,— что ты мне предлагаешь?

— Пост товарища...

— Мы и так товарищи.

Теперь Курлов может вернуть долги Бадмаеву.

— Паша, возьмешь на себя и департамент полиции?

— Давай,— согласился Курлов.— А ты не боишься, что за мои назначения Дума тебе все зубы выломает?

— Мне на них наплевать! Кстати, Паша, подскажи мне хорошего портного. Хочу сшить себе узкий в талии жандармский мундир...

Помимо мундира его заботило издание собственной газеты «Русская воля». Плеханов, Короленко и Максим Горький сразу отказались сотрудничать с ним, из «китов» остались только Амфитеатров и Леонид Андреев. Первый номер протопоповской газеты целиком был посвящен ругательствам по адресу самого же создателя этой газеты. Протопоповская газета смешала с дерьмом... Протопопова!

— Амфитеатрова выслать,— распорядился министр[1].

— Это глупо,— вмешался Курлов.— Вот Столыпин, бери с него пример... Когда на него нападали в печати, он отмалчивался. И никогда не пытался мстить. А если его подчиненные делали это за него, он бранил подхалимов и защищал своего обидчика.

— Столыпин передо мною — пешка!

Курлов даже оторопел:

— Сашка, ты на стенку лезь, но на потолок не залезай...

«Когда после моего назначения Распутин сказал мне по телефону, что теперь мне негоже водиться с мужичонком, я ему ответил, что он увидит — я не зазнаюсь. Но ставленником его себя не чувствовал, продолжая с ним встречаться у Бадмаева, как прежде; чужой при дворе, не имея никаких связей, какие были у других, я не заметил, что моею связью был Распутин (а значит, Вырубова и царица), пока царь... не почувствовал, что я стал любить его как человека, так как среди большого гонения я встречал у него защиту и ласку; он на мне «уперся», как он раз выразился мне. Он говорил, что я его *личный выбор:* мое знакомство с Распутиным он поощрял. Бадмаев и Курлов звали меня на эти свидания (с Распутиным), и я ездил не задумываясь — я знал, что его (Распутина) видят многие великие люди»,— так писал о себе Протопопов... Но, признав влияние Распутина, он никогда не сознался, что Симанович держал на руках его векселя, которые надо оплачивать. Протопопов устраивал обмен пленных — за одного еврея, попавшего в немецкий плен, выдавал трех немецких солдат! В этот абсурд трудно поверить, но так и было. Протопопов надоел царю со своим постоянным нытьем о «страданиях умной и бедной нации», из кабинетов МВД было не выжить еврейские делегации, раввины и банкиры наперебой рассказывали, как им трудно живется среди антисемитов...

Курлов орал на министра, как на сопливого мальчишку:

— Дурак! Что ты опять глаза-то свои закатил? Посмотри хоть разок на улицы — там в очередях готовы разодрать тебя за ноги. Пойми, что пришло время крови. Пока не поздно, уничтожь «хвосты» возле лавок... Надо наделить крестьян землей, хотя бы для этого пришлось пожертвовать ущемлением прав дворянства. (О, как далеко пошел Курлов в страхе своем!) Перестань ковыряться с жидами, а срочно уравняй права всех народов России. (Смотрите, как он зашагал!) Иначе нас с тобой разложат и высекут... Или ты не видишь, что разгорается пожар революции?

А в кулуарах Таврического дворца, поблескивая лысиной и стеклами пенсне, бродил язвительный Пуришкевич, отзывая под сень торжественной колоннады то одного, то другого депутата, и, завывая, читал им свои новые стишки — о Протопопове:

Да будет с ним святой Георгий!
Но интереснее всего —
Какую сумму взял Григорий
За назначение его?

Это поклеп! Протопопов был, пожалуй, единственным министром, который был проведен Распутиным бескорыстно — без обычной мзды. Сейчас он подсчитал, что подавление революции будущего обойдется государственной казне всего в четыреста тысяч рублей...

— Так дешево? — не поверил царь.

— Ни копейкой больше,— отвечал Протопопов.

Придворные называли его, как попугая, Протопопкой, а серьезные академичные генералы в Ставке — балаболкой.

По рукам публики блуждали тогда анонимные стихи:

Ах, у нас в империи от большого штата
Много фенаберии — мало результата:
Гришка проповедует, Аннушка гадает...
Про то Попка ведает, про то Попка знает!

Бадмаев в это время подкармливал Протопопова каким-то одуряющим «любовным фильтром» (что это такое — я не мог выяснить), и министр валялся в ногах царицы, глядя на нее сумасшедшими глазами старого потрепанного Дон-Жуана, потом он бросался к роялю и — великолепный пианист! — проигрывал перед женщиной скрябинские «Экстазы», рвущие ей нервы...

. . . . . .

Из камеры Петропавловской крепости царь перевел Сухомлинова в палату психиатрической больницы, откуда было легче отдать его «под домашний арест». Генерал Алексеев сказал государю:

---

[1] А. В. Амфитеатров открыл протопоповскую прессу статей, которая представляла собой бессмысленный набор слов. На самом же деле она была замаскированной криптограммой. Из первых букв каждого слова складывалась фраза с требованием отставки Протопопова!

— Ваше величество, а вы не боитесь, что толпа с улицы ворвется в квартиру и растерзает бывшего министра?

— К нему будет приставлен караул...

Сухомлинова позвонила в МВД Протопопову.

— Это выше моих сил! — сказала она.— Всю квартиру завоняли махоркой и портянками... Неужели мой супруг убежит?

Протопопов лично навестил арестанта, наговорил ему любезностей и выставил караул на лестницу, чтобы не мешал жить. Когда министр удалился, чета Сухомлиновых в строгом молчании пила чай, а абажур отпечатал на скатерти розовый круг. Екатерина Викторовна, поджав губы, тонкими пальцами с крашеными ногтями положила себе в чашечку два куска сахара.

— Я забыла сказать,— с расстановкой произнесла она, хмуря густые брови,— за то, что ты сидишь со мною и пьешь чай не в крепости, а дома, за это ты должен благодарить Распутина.

Старик тихо и жалко заплакал: он все понял.

— Боже мой,— пробормотал,— какой позор... Ах, Катя!

Жена следила, как тают в чашке куски рафинада.

— Ты,— сказала она, не глядя мужу в глаза,— должен хотя бы позвонить Распутину и в двух словах... поблагодарить.

— Избавь! Этого я никогда не сделаю...

Распутин говорил в эти дни: «Осталось Рубинштейна вызволить, тады и отдохнуть можно, а то юстицка замотала меня!» До его слуха уже долетали возгласы с улиц: «Долой Штюрмера, долой Протопопова!» Штюрмера свалить было нетрудно, пихни — и брякнется, а Протопопова уже невозможно... Пока Екатерина Викторовна пила чай со старым оскорбленным мужем, Гришка хлебал чай с Софьей Лунц: он долго молчал, что-то думая, потом показал ей кулак:

— Вот ёна, Расея-то, где! И не пикнет...

ФИНАЛ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ

Русская военная сила к осени 1916 года уже не имела гвардии — весь ее цвет погиб под шрапнелью, был вырезан под корень дробными германскими пулеметами; славная гвардия полегла в болотах Мазурии непогребенной, она приняла смерть в желтых облаках хлористых газов. Не только пролетариат — армия тоже волновалась, в окопах бродила закваска мятежа, а на страну надвигался голод. Впрочем, не будем упрощенно думать, что Россия обеднела продуктами — и хлеб, и мясо водились по-прежнему в изобилии, но Петроград и Москва уже давно сидели на скудном пайке, ибо неразбериха на транспорте путала графики доставки провизии. Вопрос о голоде в городах — это был тот каверзный оселок, на котором царское правительство наглядно оттачивало свое бюрократическое бессилие...

Протопопов заверил царя, что разрешение продовольственного кризиса он берет на себя, как частное дело своего министерства. Не в меру словоточащий министр бросил в публику, словно камень в нищего, страшное откровенное признание: лозунг *«Все для войны!»* обратился в лозунг *«Ничего для тыла!»*. Протопопов замышлял величественную схему продовольственной диктатуры — иллюзию, каких у него было немало, но высшую власть империи уже охватывал паралич... Власть! Она отвергла Протопопова, как выскочку. С осени 1916 года министры начали саботаж, и все решения Протопопова (пусть даже разумные) погибали в закорючках возражений, пунктов, циркуляров и объяснительных записок. Новоявленный диктатор оказался трусливым зайцем, а министры скоро почуяли, что этот суконный фабрикант боится их громоздких кабинетов, он готов встать навытяжку перед тайным советником в позлащенном мундире гофмаршала. Протопопов уже не вылезал из-под жестокого обстрела печати, он превратился в удобную мишень для насмешек. Наконец, в думских кругах извлекли на свет божий и свидание Протопопова с Варбургом в Стокгольме; имя министра внутренних дел отныне ставилось в один ряд с именами Распутина, Манасевича-Мануйлова, Питирима и Штюрмера... До царя дошли слухи о недовольстве в Думе назначением Протопопова; Николай II заметил вполне резонно:

— Вот пойми их! Сами же выдвигали Протопопова, он был товарищем председателя Родзянки, который прочил его на пост министра торговли и промышленности. А теперь, когда я возвысил Протопопова, они от него воротятся... Эти господа во фраках сами не ведают, кого им нужно на свою шею!

Протопопов горько плакал перед царем в Ставке:

— Государь, я оплеван уже с ног до головы...

За кулисами правительства он выработал каверзный ход, одобренный в домике Вырубовой, и явился к Родзянке:

— По секрету скажу: есть предположение сделать вас министром иностранных дел и... премьером государства.

Эх, чудить так чудить! Родзянко на это согласился.

— Но,— сказал,— передайте государю, что, став премьером, я попрошу его не вмешиваться в назначения мною министров. Каждого я назначу сроком не меньше трех лет, чтобы не было больше чехарды. Императрица не должна касаться государственных дел. Я сошлю ее в Ливадию, где до конца войны стану ее держать под надзором полиции. А всех великих князей я разгоню...

Задобрить Думу не удалось, и тогда Протопопов решил ее напугать. Он появился в Таврическом дворце, с вызовом бравируя перед депутатами новенькой жандармской формой, узкой в талии.

— Зачем вам этот цирк? — спросил его Родзянко.

— Как шеф жандармов, я имею право на ношение формы.

— Но помимо права существует еще и мораль...

Потом, наедине с Родзянкой, министр сказал:

— Вы бы знали, какая у нас императрица красивая, энергичная, умная и самостоятельная... Почему вы не можете подружиться?

Родзянко тронул октябриста-жандарма за пульс.

— А где вы вчера обедали?

Протопопов сознался, что гостил у Вырубовой.

— А ужинали у Штюрмера?

— Откуда вы это узнали? — вырвалось у Протопопова.

— В ближайшие дни Дума потребует у вас объяснений...

. . . . . .

Публичное оплевывание диктатора состоялось 19 октября на квартире Родзянки... Протопопов, как токующий глухарь, часто закатывал глаза к потолку и бормотал:

— Поверьте, товарищи, что я способен спасти Россию, я чувствую, что только я (!) еще могу спасти ее, матушку...

Думский депутат Шингарев, врач по профессии, толкнул хозяина в бок и шепнул:

— Начинается... прогрессивный паралич.

— Вы думаете, это не транс?

— Нет, сифилитический приступ... Потом это пройдет, но сейчас общение с ним затруднено. Я таких уже встречал...

Стенограмма беседы рисует картину того, как торжественно происходило оплевывание. Милюков начал повышенным тоном:

— Вы просите нас говорить как товарищей. Но человек, который вошел в кабинет Штюрмера, при котором освобождены Сухомлинов и Манасевич-Мануйлов, человек, преследующий свободу печати и дружащий с Распутиным, нашим товарищем быть не может!

— О Распутине я хотел бы ответить, но это секрет,— шепнул Протопопов.— Я хотел столковаться с Думой, но вижу ваше враждебное отношение... Что ж, пойду своим путем!

— Вы заняли место старика Хвостова[1],— заметил Шингарев,— место человека, который при всей его реакционности не пожелал освобождать Сухомлинова... Вы явились к нам не в скромном сюртуке, как того требует приличие, а в мундире жандарма. К товарищам так не ходят! Вы хотите, чтобы мы испугались вас?

— Я личный кандидат государя, которого я узнал и полюбил. Но я не могу рассказывать об интимной стороне этого дела...

Не забыли и Курлова! Протопопову напомнили о его роли в убийстве Столыпина, на что министр огрызнулся — Курлов никого не убивал. Тогда в разговор вклинился националист Шульгин:

— Я доставлю вам несколько тяжелых минут. Мы не знали, как думать: вы или мученик, прошедший туда (Шульгин показал на потолок пальцем), чтобы сделать что-либо для страны нужное, или просто честолюбец? Ваш кредит очень низко пал...

Протопопов — в раздражении:

— Если здесь говорят, что меня больше на уважают, то на это может быть дан ответ с пистолетом в руках... Туда (он тоже показал пальцем на потолок) приходит масса обездоленных, и никто еще от меня не уходил, не облегчив души и сердца... Я исполняю желания моего государя. Я всегда считал себя монархистом. Вы хотите потрясений? Но этого вы не добьетесь. Зато вот я на посту министра внутренних дел могу кое-что для России сделать!

Ему сказали, что сейчас страна в таком состоянии, что «кое-что» сделать — лишь усугубить положение. Лучше уж не делать!

— Это недолго — уйти,— реагировал Протопопов.— Но кому передать власть? Вижу одного твердого человека — это Трепов.

Вновь заговорил профессор истории Милюков:

— Сердце теперь должно молчать. Мы здесь не добрые знакомые, а лица с определенным политическим весом. Протопопов отныне для меня — министр, а я — представитель партии, приученный ею к политической ответственности....Уместно вспомнить не старика, а молодого Хвостова, бывшего нашего коллегу и тоже ставшего эм-вэ-дэ! Почему же назначение Протопопова не похоже на назначение Хвостова? Хвостов принадлежал к самому краю правизны, которая вообще не считалась с мнением общества. А на вас, Александр Дмитриевич, падал отблеск партии октябристов. За границей вы тоже говорили, что монархист. Мы все здесь монархисты...

— Да,— вскричал Протопопов,— я всегда был монархистом. А теперь узнал царя ближе и полюбил его... Как и он меня!

Нервное состояние министра стало внушать депутатам серьезные опасения, и граф Капнист поднес ему стакан с водою.

— Не волнуйтесь,— записаны в стенограмме слова графа.

Выхлебав воду, Протопопов отвечал — с надрывом:

— Да, вам-то хорошо сидеть, а каково мне? У вас графский титул и хорошее состояние, есть связи. А я...

— А я еще не кончил,— продолжал Милюков.— Когда был назначен Хвостов, терпение нашего народа не истощилось окончательно. Для меня Распутин не самый главный государственный вопрос... Мы дошли до момента, когда терпение в стране истощено...

Спокойным голосом завел речь врач Шингарев:

— Вы назвали себя монархистом. Но кроме царя есть еще и Родина! А если царь ошибается, то ваша обязанность, как монархиста, любящего этого царя, сказать ему, в чем он ошибается.

— Доклады царю не для печати, их и цензура не пропустит!

Опять влез в разговор историк Милюков:

— Я по поводу того, что вам некому передать свою власть. Вы назвали тут Трепова! Нужна не смена лиц, а перемена режима.

Наконец-то врезался в беседу и сам Родзянко:

— Согласен, что нужна перемена всего режима...

Протопопов разрыл портфельные недра, извлек оттуда записку сенатора Ковалевского о продовольственном кризисе. Снова закатывая глаза, подобно ясновидящему, министр сообщил:

— Меня! Лично меня государь просил уладить вопрос с едой. Я положу свою жизнь, дабы вырвать Россию из этого хаоса...

Он с выражением, словно гимназист на уроке словесности, читал вслух чужую записку, часто напоминая: «Господа, это государственная тайна», на что каждый раз Милюков глухо ворчал: «Об этой вашей тайне я еще на прошлой неделе свободно читал в газетах». Вид министра был ужасен, и граф Капнист забеспокоился:

— Александр Дмитрич, откажитесь от своего поста.

---

[1] Это А. А. Хвостов, родной дядя А. Н. Хвостова, о котором мною говорилось.

Нельзя же в вашем состоянии управляться с такой державой.

— И не ведите на гибель нас,— добавил Милюков.

Стенограмма фиксирует общий возглас депутатов:

— Идите спать и как следует выспитесь.

Шингарев настаивал на принятии дозы снотворного. Все разошлись, только Протопопов еще сидел у Родзянки. Это было невежливо, ибо семья давно спала, хозяин дома зевал с таким откровением, словно спрашивал: «Когда же ты уберешься?» Но Протопопова было никак не выжить. Часы уже показывали полчетвертого ночи, когда Родзянко буквально вытолкал гостя за дверь.

— Все уже ясно. Чего же тут высиживать?

. . . . . .

Сунув озябшие руки в неряшливо отвислые карманы пальто, под которым затаился изящный мундир шефа корпуса жандармов, министр внутренних дел, шаркая ногами, плелся через лужи домой...

«Обидели,— бормотал он,— не понимают... Изгадили и оплевали лучшие мои чувства и надежды. Неужели я такой уж скверный? Паша-то Курлов прав: завидуют, сволочи, что не их, а меня (меня!) полюбил государь император...»

Фонари светили тускло. Сыпал осенний дождик.

Девочка-проститутка шагнула к нему из подворотни.

— Эй, дядечка, прикурить не сыщется?

Глухо и слепо министр прошел мимо, поглощенный мыслями о той вековечной бронзе, в которую он воплотится, чтобы навсегда замереть на брусчатке площади — в центре России, как раз напротив Минина и Пожарского. «Они спасли Русь — и я спасу!» Но это произойдет лишь в том исключительном случае, если Протопопову удастся разрешить два поганых вопроса — еврейский (с его векселями) и продовольственный (с его «хвостами»).

Александр Дмитриевич, шли бы вы спать!

Спокойной вам ночи.

Свершилось то, чего народ давно ждал. Гнойник вскрыт, первая гадина раздавлена. Гришки нет — остался зловонный труп. Но далеко еще не все сделано. Много еще темных сил, причастных к Распутину, гнездится на Руси в лице Николая II, царицы и прочих отбросов и выродков...

Из письма рабочих Нижнего Новгорода от 3 января 1917 года к князю Феликсу Юсупову

Часть последняя

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ
(Осень 1916-го — февраль 1917-го)

ПРЕЛЮДИЯ К ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ

Я не пишу детективный роман, в котором автору надо бояться, как бы читатель не догадался, что случится в конце,— и потому смело описываю события, возникшие после смерти Распутина...

— Это уж точно — ухлопали мово парнишечку! Юбочки да стаканчики гранены никого до добра не доводили,— рассуждала Парашка Распутина в те дни, когда столичная полиция с ног сбилась, занятая поиском трупа ее мужа. В отличие от императрицы Парашка никогда не считала своего суженого святым, она была женщиной практичного ума и потому энергично вскрыла полы, разнесла по кирпичику все печки, ободрала со стенок квартиры зеленые обои.— Где ж он, треклятый деньжищи-то упрятал?

Миллионы протекли, как вода, между пальцев Распутина, но еще многие миллионы рассовал он по тайным «заначкам». Боясь газетной огласки, Распутин мог хранить свои сбережения в банках лишь на подставных лиц...

Мунька Головина подсказала:

— Требуйте от Симановича, он ведал всей кассой.

Аарон Симанович отрекся:

— Распутин? Да я от него копеечки не видывал...

— Звоните Штюрмеру,— точно наметила цель Мунька.— Я знаю, что Григорий Ефимыч сдавал ему на хранение саквояж, а там не только деньги... кое-что еще подороже денег!

Штюрмер сонно спросил в телефон Прасковью:

— А какой Григорий Ефимыч? Распутин? Но я не знаю такого и прошу вас более не тревожить меня по пустякам...

— Звоните в Лавру — Питириму! — скомандовала Мунька.

К телефону подошел его секретарь Осипенко:

— Кто просит владыку и что вам угодно?

— Да я ж прошу, Параскева Распутина, верните камушки...

— Какие камушки?

— Драгоценные, вестимо...

Население столицы было столь озлоблено против Распутина, что семья временщика побоялась оставаться на Гороховой: собрав манатки, они тишком переехали на Коломенскую в дом № 9, где императрица сняла для них квартиру. Но и оттуда, не вынеся ненависти соседей, вскоре бежали на Озерки — в пустошь запурженных снегом дач, куда и добраться-то можно только поездом... Императрица вызвала дочек Распутина в Царское Село.

— Со временем,— сказала она им,— квартира вашего отца на Гороховой будет превращена в музей-часовню, куда, я верю, хлынут народные толпы. Навещайте меня когда захотите...

В канун Февральской революции Алиса дала Распутиным совет пережить смутное время на родине. Тронулись они в Сибирь, а вслед по проводам телеграфа летела «благая весть», что царь «взыскует их милостью» и впредь будущее Распутиных обеспечено: из «кабинетных» денег им назначена пенсия, какая и генералу не приснится... Только приехали в Покровское, как в дом к ним — староста Белов:

— А ну, вон из села!

Поселились они в Тобольске; тут и революция грянула, царя-кормильца не стало, защиты искать негде. Гарнизонные солдаты повадились стекла в окошках им выбивать.

От подобных бед Распутины скрылись где-то в чащобной глухомани Сибири и, казалось, навсегда потеряны для истории. Адмирал Колчак, начавший поход на Советскую страну, воскресил Распутиных из небытия; после пребывания в его стане вдова с дочками драпали потом по шпалам аж до самого Владивостока, ахая, плыли морем в Японию, и вдруг оказались в Европе! Стало ясно, что денежки у них, и правда, в загашнике шевелились. А откуда у них деньги? Об этом можно догадываться. Был такой прапорщик Борис Соловьев (уже третий Соловьев в нашем романе), сын синодального чиновника. Он ухлестывал за старшей дочерью Распутина, за Матреной, и, аферист отчаянный, устроил заговор с целью освобождения Романовых из ссылки. Царя с царицей он не освободил, но зато как следует подчистил их шкатулки. Правда, Соловьев с Матреной, бежавшие от Красной Армии, угодили прямо в лапы к Семенову, атаман здорово их обкорнал, но кое-что у них все-таки осталось. Проживая потом в Париже, Матрена Распутина подала в суд на князя Ф. Ф. Юсупова, требуя с него «возмещения убытков», возникших после убийства отца, но французский суд не внял иску Мотри и отказался разбирать это дикое дело...

Одна моя знакомая, старая рижанка, рассказывала:

— В тридцатых годах в Ригу приезжала Матрена Распутина, я была тогда молодой и видела ее в цирке.

— А что она там делала, в цирке? — спросил я.

— Как что? Матрена была укротительницей тигров. Ходила по манежу в брюках и щелкала кнутом. Удивительно мужеподобная и неприятная особа с ухватками городового. А голос грубый... Шли в цирк не потому, что ее номер был интересным, а просто рижанам было любопытно глянуть на дочку самого Распутина!

Этот рассказ нашел подтверждение в недавней публикации дневников балетмейстера В. Д. Тихомирова, который в 1932 году гастролировал в Риге; правда моя знакомая говорила об укрощении тигров, а Тихомиров писал, что Распутина выступала с белыми лошадьми, но это расхождение несущественное. Младшая же дочь Варвара, опустившись в самые низы эмигрантской жизни, «вечеряла в темных кафешантанах, что-то выплясывая, что-то выпевая...» Вот так!

. . . . . .

Аарона Симановича арестовали сами евреи (я подчеркиваю это обстоятельство, как чрезвычайно важное)!

— Монечка,— сказал Симанович студенту Бухману,— не я ли устроил тебе роскошный блат, чтобы ты, как порядочный, учился на юридическом? А ты меня тащишь?

— Давай топай,— отвечали ему...

Это случилось в первые же дни Февральской революции. Симановича впихнули в кузов грузовика, где вибрировали от страха еще двое — долгогривый Питирим и скорбящий Штюрмер. Повезли... Симанович сразу обжаловал свой арест: «Я подписал составленную Слиозбергом на имя Керенского телеграмму, в которой говорилось, что я занимался *только еврейскими делами*...» После этого жреца «макавы» Керенский отделил от министров и жандармов, из крепости его перевезли в камеру Крестов. Адвокат Файтельсон сделал так, что имя Симановича не было внесено в списки заключенных. Помощник присяжного поверенного А. Канегиссер (будущий убийца большевика-ленинца М. С. Урицкого) сказал Симановичу, что у него хорошие защитники: «Вам осталось только выйти из тюрьмы...»

Он и вышел, горько жалуясь, что «охранка» Керенского сделала его нищим. Согласен, что его малость повытрясли при аресте, но еще больше драгоценностей у него осталось. Близился Октябрьский переворот, и надо было бежать от гнева народного, от гнева праведного. Симанович предвосхитил сюжет нашей кинокомедии «Бриллиантовая рука». «Лутший из явреив», как именовал своего секретаря Распутин, добыл себе справку о переломе руки. Загипсовав ее, Симанович укрыл в повязке тысячу каратов бриллиантов и миллион золотом. Поверх загипсованной конечности болталась бирка, заверенная врачами, что снять повязку можно не раньше такого-то числа. Изображая на лице глубокое страдание, стонущий Симанович при поддержке многочисленных родственников был помещен в поезд — и... прощай, прошлое!

В Киеве настроение ему все время портил Пуришкевич; убийца Распутина с револьвером в руках гонялся за секретарем Распутина. От гнева черносотенца Симанович спасался в объятиях белогвардейской охранки, которая выразила ему солидный решпект, как придворному ювелиру. С помощью «охранки» Симанович открыл на Крещатике офицерское казино, дававшее ему каждый день по десять тысяч дохода (в английских фунтах). С богатых евреев Симанович собрал шесть миллионов рублей в пользу белой гвардии. Удивительное дело: белогвардейцы устраивали еврейские погромы, а сионисты жертвовали миллионы на поддержку погромщиков... Когда в Киев вошли чубатые петлюровские коши, Симанович бежал в Одессу, где стал ближайшим другом знаменитого бандита Мишки Япончика, при котором состоял вроде секретаря наш старый знакомец Борька Ржевский,— содружество дополняли еще три приятеля Симановича: генералы Мамонтов, Шкуро и Бермонт-Авалов (последний скрывал свое еврейское происхождение). Эти головорезы помогали Симановичу обогащаться на людских страданиях: богатых беженцев доставляли на квартиру Симановича, и он задарма скупал у них фамильные ценности. Мамонтов и Шкуро имели от грабежа не чемоданы, а вагоны с золотыми изделиями, с богатой церковной утварью. Симанович сделался финансовым секретарем атаманов-мародеров. Белогвардейцы ценили в нем опытного «доставалу», способного даже в чистом поле раздобыть коньяку, икры, колоду карт и вполне доступных барышень с гитарой, повязанной роскошным бантом...

Но всему есть предел! Пароход «Продуголь», на борту которого (при невыносимой давке) Симановичу выделили пятьдесят мест, вышел в море из Новороссийска под вопли сирены и дикие возгласы пассажиров: «Бей жидов — спасай Россию!» Симанович скрылся в каюте атамана Шкуро, которого сопровождала в эмиграцию румынская капелла под управлением славного скрипача Долеско, ранее подвизавшегося в ресторане у Донона.

А. С. Симанович в эмиграции выпустил книгу «Распутин и евреи», в которой, не удержавшись, растрепал множество тайн сионистской шайки. Боясь разоблаче-

ний, сионисты, где только видели эту книгу, сразу ее уничтожали, и потому она стала библиографической редкостью... Из всей обширной распутинианы книга «Распутин и евреи» — самая мерзкая, самая нечистоплотная!

. . . . . .

Грянул исторический выстрел «Авроры», и в первую же ночь Октябрьской революции, давшей власть народу, по Литейному проспекту бежал человек, в котором можно было признать сумасшедшего... Дико растерзанный, в немыслимом халате, в тапочках, спадающих с ног, развевая штрипками от кальсон, он бежал и вопил:

— Долой временных! Вся власть Советам!

Трудно догадаться, что это был Манасевич-Мануйлов, улизнувший под шумок из тюрьмы. Как судившийся при царском режиме, как осужденный во время диктатуры Керенского, он вообразил, что Советская власть распахнет перед ним объятия. ВЧК, созданная для борьбы с контрреволюцией, показалась Ванечке такой же «охранкой», что раньше боролась с революцией. Он предложил большевикам свой колоссальный опыт русского и зарубежного сыска, богатейшие знания тайн аристократического Петербурга, дерзкую готовность к любой провокации... Его отвергли!

Подделав мандат сотрудника ВЧК, Ванечка решил, что проживет неплохо. Петербург ломился от сокровищ древней аристократии, а Манасевич хотел заработать на страхе перед чекистами. Являлся в дом какого-либо князя, говорил интимно, что вот, мол, обстоятельства заставили его служить в большевистской «живодерне», но, благородный человек, памятуя о заслугах князя перед короной, желаю, мол, предупредить обыск. Да, ему точно известно, когда придут, обчистят и арестуют. Что делать потомку Рюрика? Возьми что видишь, только, будь другом, чтобы не было обыска и ареста. Ванечка брал... на «хранение до лучших времен»! А на тех, кто, не доверяя ему, говорил слишком смело: «Пусть приходят и обыскивают, я не украл!», на таких Ванечка посылал в ВЧК анонимные доносы: мол, на квартире такого-то собираются заговорщики по свержению нашей любимой народной власти...

Рокамболь на полицейской подкладке не учел лишь одного — что ВЧК установило за ним наблюдение, и он, тертый жизнью калач, учуял опасность заранее. Чекисты пришли его арестовывать, но квартира на улице Жуковского была уже пуста... В пасмурный денечек 1918 года на станцию Белоостров прибыл состав из Петрограда; здесь проходила граница с Финляндией, здесь работал «фильтр», через который процеживался поток бегущих от революции людей, будущих эмигрантов. Солидный господинчик с круглым кошачьим лицом и очень большим темным ртом предъявил контролю иностранные документы. «Порядок! Можно ехать». Хлеща мокрыми клешами по загаженным перронам, прошлялся мимо матрос.

— Вот ты и в дамках,— сказал он этому господину.— Год назад караулил я тебя, гниду, в крепости. Сидел ты на крючке крепко, и не пойму, как с крючка сорвался...

«Иностранец» сделал вид, что русской речи не понимает. Контроль верил его документам, еще вчера подписанным в одном иностранном консульстве, и матросу велели не придираться. Шлагбаум открылся... Но тут, в самый неподходящий момент, возникла актриса Надежда Доренговская — пожилая матрона с гордым и красивым лицом, с ног до головы обструенная соболями.

— Ванечка! — сорвался с ее губ радостный возглас.

Радостный, он стал и предательским. Матрос передернул на живот деревянную кобуру, извлек из нее громадный маузер.

— Вот и шлепнем тебя в самую патоку...

Манасевича-Мануйлова вывели на черту границы, разделявшей два враждующих мира, и на этом роковом для него рубеже Рокамболь с громким плачем начал рвать с пальцев драгоценные перстни... Захлебываясь слезами, он кричал:

— Ах, я несчастный! Как все глупо... теперь все пропало! А как жил, как жил... Боже, какая дивная была жизнь!

Винтовочный залп сбил его с ног, как пулеметная очередь. Он так и зарылся в серый истоптанный снег, а вокруг него, броско и вызывающе, сверкали бриллианты. Не поддельные, а самые настоящие...

. . . . . .

А теперь, читатель, вернемся в осень 1916 года.

Издалека, от линии фронта, на столицу катил санитарный поезд, наполненный ранеными; работу этого поезда возглавлял думский депутат Владимир Митрофанович Пуришкевич; сейчас он ехал в столицу на открытие осенней сессии Думы...

Под ним надсадно визжало истертое железо путей, и в этом скрежете колес о ржавчину рельсов Пуришкевичу казалось, что он слышит чьи-то голоса, то отрицающие, то утверждающие:

«Убийца нужен?.. Или не нужен?... Нужен?.. Не нужен?.. Нужен-нужен-нужен!» — голосило железо.

Пуришкевич чистил свой любимый револьвер «соваж».

1. БРАВО, ПУРИШКЕВИЧ, БРАВО!

Прямой внук императора Николая I великий князь Николай Михайлович средь многочисленной романовской родни занимал особое положение. Это был ученый-историк и знаток русской миниатюры, оставивший после себя немало научных трудов, в которых не пощадил коронованных предков, разоблачая многие тайны дома Романовых; он был фрондером, наружно выказывая признаки оппозиции к царствованию Николая II, который доводился ему внучатым племянником[1]. Этот историк называл царицу одним словом — стерва (не слишком-то почтительно). Николай Михайлович так и говорил:

— *Она* торжествует, но долго ли еще, стерва, удер-

[1] Родной брат Николая Михайловича великий князь Александр Михайлович был женат на великой княжне Ксении, родной сестре императора Николая II; дочь от этого брака, Ирина Александровна, была женою князя Ф. Ф. Юсупова графа Сумарокова-Эльстон, убийцы Распутина.

жится? А *он* мне глубоко противен, но я его все-таки люблю...

Дневнику историк поверял свои мысли: «Зачатки непримиримого социализма все растут и растут, а когда подумаешь о том, что делается у берегов Невы, в Царском Селе — Распутины... всякие немцы и плеяда русских, им сочувствующих,— то на душе становится жутко». Николай Михайлович — это принц Эгалите, только на российской закваске; в нем не было, как у Филиппа Эгалите, крайней левизны, но была шаткость. Осталось уже недолго ждать, когда его высочество, ученик профессора Бильбасова, станет другом Керенского, ежедневно с ним завтракавшего, а в петлице сюртука «принца Эгалите» скоро вспыхнет красная ленточка революции...

Но сейчас первые числа ноября 1916 года! Дума потребовала срочной отставки Штюрмера; Пуришкевич навестил историка в его дворце близ Мошкова переулка, где великий князь проживал сибаритствующим холостяком среди колоссальных коллекций миниатюр. На вопрос Николая Михайловича — что же будет дальше, Пуришкевич ответил:

— А что? Уже много сделано, чтобы всем нам быть повешенными, но толку никакого. Никто из нас не собирается строить баррикады, а следовательно, не станем призывать на баррикады и других. Дума — лишь клапан, выпускающий избыток пара в атмосферу.

— Штюрмер слетит,— сказал Николай Михайлович.— По секрету сообщаю: вся наша когорта Романовых на днях переслала государю коллективное письмо, прося его величество устранить свою жену от участия в государственных делах.

— Вы тоже один из авторов этого письма?

— Я даже не подписался под этой чушью.

— Почему? — спросил Пуришкевич, протирая пенсне.

— Семейной болтовни было достаточно...

Два человека, по-своему умных и страстных, сидели друг против друга, один прямой внук Николая I, другой внук крестьянина, их объединяло общее беспокойство. Николай Михайлович признался, что составил свою собственную записку для императора. «Боюсь,— сказал он ему,— что после этой записки ты арестуешь меня».— «Разве так страшно? — спросил Николай II.— Ну что ж, будем надеяться, все обойдется мирно...»

— Он прочел мое письмо, и теперь я в опале!— Историк открыл шифоньер, извлек из него свою записку.— Я возил ее в Киев для прочтения вдовствующей императрице Марии, здесь вы можете видеть ее три слова по-французски: «Браво, браво, браво! Мария».

Он дал записку Пуришкевичу, и тот прочел:

«Где кроется корень зла?.. Пока производимый тобою выбор министров был известен только ограниченному кругу лиц, дело еще могло идти. Но раз способ стал известен всем и каждому и о твоих методах распространилось во всех слоях общества, так дальше управлять Россией немыслимо. Неоднократно ты мне сказывал, что тебя... *обманывают*. Если это так, то же явление должно повториться и с твоею супругой... благодаря злостному сплошному обману окружающей ее среды. Ты веришь Александре Федоровне! Оно и понятно. Но что исходит из ея уст, есть *результат ловкой подтасовки*... огради себя от ея нашептываний...

Ты находишься накануне эры новых волнений.

Скажу больше — *накануне эры крушений*».

— Как реагировал на это царь? — спросил Пуришкевич.

— Обычно. Теперь за мною по пятам шляются сыщики. Ваш визит ко мне, будьте покойны, тоже станет известен царю. Недавно я видел Палеолога, он сказал мне: «До сих пор мы имели дело с русским правительством. Но отныне у вас в верхах такая дикая неразбериха, что мы, французы, иногда уже перестаем понимать, с кем же имеем дело...»

Пуришкевич поведал, что всю долгую дорогу, пока его поезд шел с фронта, он не сомкнул глаз — мучился:

— Я не могу покинуть ряды правых, ибо я есть правый и горбатого могила исправит. Но бывают моменты (вы как историк это знаете лучше меня), когда нельзя говорить со своей уездной колокольни. Надобно бить в набат с Ивана Великого.

— Вы хотите выступить в Думе?

— Да.

. . . . . .

Ноябрь 1916 года — это обширное предисловие к февралю 1917 года. Россия даже пропустила мимо ушей сообщение газет о том, что австрийский император Франц-Иосиф, достигнув возраста 97 лет, пребывает в агонии... Бог с ним! Внутри государства происходили вещи более интересные. Распутин до предела упростил роль русского самодержца. Штюрмер и сам не заметил, когда и как Гришка задвинул его за шкаф, а все дела империи решал с царицей, которая стала вроде промежуточной инстанции, передававшей мужу указания старца. Николай II не обижался! Зато был недоволен Штюрмер, имевший от могущества непомерной власти один кукиш. Положение в стране создалось явно ненормальное. Пересылая в Ставку список распоряжений, царица наказывала мужу: «Держи эту бумажку всегда перед собой... Если б у нас не было Распутина, все было бы давно кончено!» Штюрмер висел на тонком волоске, а думские речи о его «измене» обрезали этот волосок, как ножницы. С непомерных высот величия Штюрмер рухнул в скоропостижную отставку. Подумать только! За короткий срок супостат успел побыть президентом великой страны, владычил над народом в министерстве внутренних дел, наконец, таскал портфель министра дел иностранных... Один хороший пинок — и упорхнул! В утешение любимцу царь пожаловал ключ камергера.

На место Штюрмера вылезал в премьеры генерал А. Ф. Трепов — мрачный и жестокий сатана, умудрявшийся в *одном* слове из *трех* букв делать *четыре* ошибки (вместо «еще» Трепов писал «исчо»). Распутина никак не устраивало назначение и Трепова.

— Как можно его в примеры брать? — возмущался он.— Да спроси любого: фамилия Треповых всегда была несчастливой, при Треповых кровушка лилась, будто дождичек...

Под диктовку Бадмаева он составил резкие, почти

хамские телеграммы к царю. В бадмаевской же клинике генерал Мосолов, состоявший при Трепове, и разыскал Гришку Распутина, пившего какую-то возбуждающую микстуру.

— Слушай, ты, падаль! — заявил ему генерал безо всякого почтения.— Хочу предупредить, что если станешь мешать...

— А чо? Чо ты мне сделаешь? — заорал Распутин.

— Шлепну, и все,— сказал треповский генерал...

Морис Палеолог записывал: «Штюрмер так удручен опалой, что покинул министерство, даже не простившись с союзными послами... Сегодня днем, проезжая вдоль Мойки на автомобиле, я заметил его у придворных конюшен. Он с трудом продвигается пешком против ветра и снега, сгорбив спину, устремив взгляд в землю... Сходя с тротуара; чтобы перейти набережную, он чуть не падает». Трепов накануне своего назначения повидался с Коковцевым.

— Я, кажется, единственный за последние годы председатель Совета Министров, который прошел сам — без Распутина... Владимир Николаич, подскажите, что я могу сделать для Родины?

— Гришка уже все сделал на сто лет вперед,— отвечал бывший премьер.— Я просто не вижу, Александр Федорыч, что бы вы еще могли добавить к тому, что уже сделано...

Трепов, вступая в должность, сказал царю прямо:

— Только уберите прочь дурака Протопопова!

Царь убрал со стола письмо жены, в котором она советовала повесить Трепова на одном суку с Родзянкой и Гучковым.

— Не вижу причин убирать Протопопова,— ответил царь.

Трепов, человек жесткий, вызвал к себе Распутина.

Бестрепетно выложил перед ним двести тысяч рублей.

— Забирай, и чтобы я больше тебя в столице не видел! Я не позволю мужику вмешиваться в государственные дела.

Мужик низко-низко поклонился премьеру России.

— Хорошо, генерал. Согласен взять твои денежки. Тока вот есть у меня один человечек... С ним прежде посоветуюсь.

Через несколько дней Гришка явился к Трепову.

— Переговорил я со своим человечком. Сказал он мне — не бери денег от Трепова, я тебе, Григорий, еще больше дам!

Трепов спросил, кто этот «человечек».

— А царь наш,— сказал Распутин и вышел.

...Трепов продержался только один месяц!

. . . . . .

Теперь, когда Штюрмера не стало, кричали так: «Протопопова — в больницу, а Трепова — на свалку!» Перед Царским Селом встала задача взорвать Думу изнутри, и царица имела платного агента, который за десять тысяч рублей, взятых им у Протопопова, брался это сделать. Грудью вставая на защиту Распутина, депутат Марков-Валяй низвергал с думской трибуны такие ругательства, что Родзянко лишил его слова. Тогда Марков сунул к носу Родзянки кулак и произнес несколько раз — со сладострастием:

— Мерзавец ты, мерзавец ты, мерзавец и болван!

«Он рассчитывал,— писал Родзянко,— что я не сумею сдержаться, пущу в него графином, и по поводу этого скандала можно будет сказать, что Государственную думу держать нельзя и надо ее распустить... Графин такой славный был, полный воды, но я сдержался!» Дабы утешить оскорбленного Родзянку, его избрали почетным членом университета, а посол Франции украсил его сюртук орденом Почетного легиона (одновременно Палеолог вручил орден и Трепову за то, что тот потребовал удаления Протопопова). Но вот настал день 19 ноября — на трибуну поднялся Пуришкевич.

— Ночи последние не могу спать,— начал он,— даю вам честное слово. Лежу с открытыми глазами, и мне представляется ряд телеграмм... чаще всего к Протопопову. Зло идет от темных сил, которые потаенно двигают к власти разных лиц...

Над лысиной оратора сразу брякнул колокольчик.

— Прошу не развивать этой темы,— сказал Родзянко.

— Да исчезнут,— возвысил голос Пуришкевич,— Андронников-Побирушка и Манасевич, все те господа, составляющие позор русской жизни. Верьте мне, я знаю, что моими словами говорит вся Россия, стоящая на страже своих великодержавных задач и не способная мириться с картинами государственной разрухи...

— Владимир Митрофаныч, не увлекайтесь!

— В былые столетья,— выдыдывал Пуришкевич,— Гришке Отрепьеву удалось поколебать основы нашей державы. Гришка Отрепьев снова воскрес теперь во образе Гришки Распутина, но этот Гришка, живущий в условиях XX века, гораздо опаснее своего пращура. Да не будет впредь Гришка руководителем русской внутренней и общественной жизни...

Гостевые ложи заполняла публика, было множество дам, все аплодировали. Завтра его речь (если ее не зарежет думская цензура) появится в печати. Он был смят и оглушен выкриками:

— Браво, Пуришкевич, браво!

В числе прочих дам Пуришкевича обласкала и баронесса Варвара Ивановна Икскуль фон Гильденбрандт (известная репинская «Дама под вуалью»); чтобы сразу нейтрализовать это горячее выступление, баронесса, кокетничая, предложила Пуришкевичу:

— Умоляю... немедленно... мотор на площади... едем к Григорию Ефимычу! Он так любит все оригинальное...

Пуришкевич не попался на эту удочку и поехал на трамвае домой, чтобы впервые за много дней как следует выспаться. На следующий день его одолевали телефонные звонки. Пуришкевич не хотел ни с кем разговаривать, но вечером жена настояла:

— Тебе что-то хочет сказать князь Феликс Юсупов.

Юсупов сказал, что сейчас он сдает экстерном экзамены в Пажеском корпусе, а потому 19 ноября не мог лично приветствовать оратора, ибо, нарушив уставы Корпуса, посетил бы Думу в штатском.

— Владимир Митрофанович, я хочу с вами побеседовать, но разговор не для телефона. Когда вы можете меня принять?

— Завтра, в девять утра.

Юсупов прибыл на квартиру Пуришкевича и, как

родственник императорской семьи, сообщил последнюю придворную новость:

— Моя тетя (царица) грызет ковры от злости. А вы знакомы с Митей? Я имею в виду великого князя Дмитрия Павловича... Он прочел вашу речь и сказал, что вы ошибаетесь. Вам кажется, что если открыть глаза царю, то этим вы спасете Россию.

— А как же иначе? — отвечал Пуришкевич.

— Этого мало,— с милой улыбкой сказал Феликс.

2. АНКЕТА НА УБИЙЦ

Замешанных в заговоре на жизнь Распутина было много (даже больше, чем нужно), но главных убийц было трое. О них и поведаем в порядке — согласно их титулованию.

. . . . . .

ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ — великий князь (1891—1942)

Единственный сын великого князя Павла Александровича, родного брата покойного Александра III, и, таким образом, двоюродный брат Николая II, который был на двадцать три года его старше и называл кузена запросто — Митей... Мать его была греческой королевной. Отец же известен сложностью матримониальных отношений. Когда его брат, гомосексуалист Сергий, женился на Элле Гессенской (сестре Алисы), Павел поспешил исправить ошибку природы, совершая набеги на пустующий альков своего брата. Гречанка не вынесла измен мужа и, родив Дмитрия, сразу же приняла сильную дозу яда. Павел Александрович, овдовев, утешил себя тем, что стал выступать в качестве актера на любительской сцене.

Митя с сестренкой Машей росли в Москве, отданные на воспитание тете Элле, овдовевшей после взрыва бомбы эсера Каляева. По утрам брат с сестричкой, взявшись за руки, ходили в гимназию, одетые по-простецки — в валенки и тулупчики, подпоясанные красными кушаками. Сестра его Маша была силком выдана за принца Зюдерманландского, от которого бежала, оставив в Швеции ребенка, и вышла по страстной любви за офицера Путятина (которого с такой же страстью и бросила). О ней много пишет А. А. Игнатьев в своей книге «50 лет в строю»... Дмитрий прошел курс офицерской кавалерийской школы, начав службу корнетом в конной лейб-гвардии, позже был шефом 11-го гренадерского Фанагорийского полка. Сиротское положение без отца и матери, общение с патриархальным бытом Москвы сделали Дмитрия очень простым в обращении с людьми, он никогда не заносился своим происхождением. Красивый и стройный юноша, умевший носить мундир и смокинг, Митя пользовался популярностью на вечеринках гвардейской молодежи. Храбро участвовал в боях, став штабс-ротмистром и флигель-адъютантом.

В семье Николая II его считали «нашим». Дмитрий подписывал свои письма к императору не совсем прилично: «Мокро и слюняво амбрасирую твоих детей. Тебя же заключаю не без некоторого уважения в свои объятия. Твой всем сердцем и телом, конечно, кроме ж.., преданный Дмитрий! Возьми это послание с собой, когда пойдешь с... — соедини приятное с полезным!» В него пылко влюбилась старшая дочь царя Ольга, и в 1912 году они были помолвлены. Брак был предрешен интересами династии: в случае смерти гемофилитика Алексея эта молодая пара должна занять российский престол. Но Распутин резко восстал против этого брака, доказывая царю, что «Митька болен такой скверной, что ему и руки подать страшно» (это была ложь!). Через великих князей из клана Владимировичей, давно рвавшихся к престолу, Распутин свел Дмитрия с известною московской куртизанкой г-жой М., которая очень ловко вовлекла юношу в серию грязных кутежей, и Ольга, узнав об этом, отказала своему жениху...

К мысли об убийстве Распутина Дмитрий пришел сознательно, желая, как он писал, «дать возможность государю открыто переменить курс, беря на себя ответственность за устранение этого человека... Аликс ему этого бы не дала сделать!». После революции Дмитрий говорил: «Наша родина не могла быть управляема ставленниками по безграмотным запискам конокрада, грязного и распутного мужика... Старый строй должен был неминуемо привести Романовых к катастрофе».

Белоэмигрантские круги в Париже не раз выдвигали Дмитрия в претенденты на русский престол, но великий князь старался держаться в тени. Женился на очень богатой американке, получившей титул графини Ильинской. В годы Великой Отечественной войны, проживая частным лицом в Швейцарии, выступал против гитлеризма и приветствовал Советскую Армию, веря в ее победу.

Умер в марте 1942 года — от туберкулеза.

. . . . . .

Князь Ф. Ф. ЮСУПОВ
граф СУМАРОКОВ-ЭЛЬСТОН (1887—1967)

Родился от брака генерала графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон с последней княжной Зинаидой Юсуповой,— отсюда и возникла его тройная фамилия. По матери наследник колоссальных юсуповских богатств, остатки которых сейчас в СССР представляют известные музеи-заповедники, наполненные сокровищами искусства. Главной фигурой в семье была его мать, очень умная и стойкая женщина. Валентин Серов оставил нам облик этих людей на портретах (отца — с лошадью, матери — со шпицем, а самого Феликса изобразил с английским догом).

Молодой Юсупов окончил Оксфордский университет, имел тяготение к литературе. Был кумиром золотой молодежи, имел прозвище русский Дориан Грей, а непомерное почитание Оскара Уайльда привело его к извращению вкусов. К Распутину в 1911 году Феликса привело не любопытство (как он писал), а то, что Распутин взялся излечить его от «уайльдовщины». Гришка лечил так: раскладывал жертву на пороге комнат и порол ремнем до тех пор, пока наш Дориан Грей не молил о пощаде. (Протокол следствия по делу Ф. Ф. Юсупова донес до нас слова Распутина, сказанные им князю: «Мы тебя совсем поправим, только еще нужно съездить к цыганам, там ты увидишь хорошеньких женщин, и болезнь совсем пройдет».)

В 1914 году Ф. Ф. Юсупов сделал предложение великой княжне Ирине; племянница царя, девушка удиви-

тельной красоты, до безумия влюбилась в Юсупова, а ее родители дали согласие на брак. Но Распутин опять вмешался, противореча: «Нельзя,— говорил он,— Феликсу на Иринке женихаться, потому как он мужеложник поганый и детей не будет у них». Однако богатства Юсуповых были значительнее богатств Романовых, и это решило судьбу. Из своей самой крупной в мире коллекции драгоценных камней Феликс выбрал для невесты диадему и колье, каких не было даже у императрицы; подарки жениха занимали несколько стендов, напоминая ювелирный магазин, а потому Романовы искренно считали, что Ирина сделала выгодную партию, о какой только можно мечтать... Женившись, Феликс забыл свои скверные привычки, стал хорошим отцом и мужем, а Распутина с тех пор он лютейше возненавидел и до осени 1916 года больше с ним не встречался.

После революции, оставив в России все свои несметные богатства, Юсуповы поначалу эмигрировали в Рим, где открыли белошвейную мастерскую. Отец так ничего и не понял, продолжая бубнить: «Я говорил государю: мол, немцам народ не верит, окружите себя русскими, а он... Ну и началась кутерьма!» А княгиня Зинаида Юсупова восприняла перемену жизни как закономерное явление диалектики и никогда не порицала случившееся на родине. «Мы сами и виноваты»,— говорила она. Влияние матери сказалось и на сыне: Феликс отказался вступить в белую гвардию, не стал участвовать в гражданской войне. В эмиграции он часто нуждался; так, например, в Париже он с женою ходил обедать в ресторан, съедая пулярку по-юсуповски, которую — ради рекламы! — им подавали даром. Скоро в нем проявился недюжинный талант живописца, и Феликс писал странные, но оригинальные картины. Издал два тома мемуаров — «До изгнания» и «В изгнании» (отрывки из них печатались в советской прессе). До самых преклонных лет князь сохранил небывалую живость и юношескую стройность, он румянился и подкрашивал губы, любил принимать живописные позы (очевидно, не мог изжить в себе юношеские повадки Дориана Грея).

Когда разразилась война и Гитлер напал на СССР, Юсупову пришлось выдержать очень серьезный экзамен на мужество и доказать, что он действительно любит свою Родину. Фашисты активно заманивали его к себе на службу. Юсупов с отвращением (которого даже не скрывал) отказался! Немцы обещали ему, жившему впроголодь, вернуть уникальную драгоценность рода Юсуповых — черную жемчужину, стоившую миллионы долларов, которая хранилась в берлинских банках. Юсупов отказался и от жемчужины! Наконец, гитлеровцы предложили Юсупову... российскую корону, но и в этом случае Феликс не согласился служить врагам Отчизны.

После войны он с Ириною поселился в заброшенной конюшне Парижа, на улице Пьер-Жерен, 38-бис; крыша текла, и старики спали, раскрыв над собою зонтики. Феликс был по-прежнему строен как юноша, только у него болели глаза, и он стал носить дымчатые очки. Конюшню князь своими руками превратил в уютный жилой дом, украсив его стены портретами своих предков... Феликсу Феликсовичу было уже семьдесят восемь лет, когда его навестили советские журналисты, которым он заявил, что еще не потерял надежды побывать в гостях на любимой Родине. Кстати, он спросил, что сейчас находится в его бывшем дворце на Мойке, где он убивал Гришку Распутина.

— Дом ленинградского учителя,— ответили ему...

Осенью 1967 года советские газеты известили читателей о смерти князя Ф. Ф. Юсупова графа Сумарокова-Эльстон в возрасте восьмидесяти лет. Этот знак внимания оказан князю, очевидно, как патриоту, который, сохранив достоинство аристократа, никогда не унизил себя до того, чтобы вмешиваться в заговоры против своей Отчизны... Мир праху его!

. . . . . .

Владимир Митрофанович ПУРИШКЕВИЧ (1870—1920)

За этим человеком не числилось громких титулов, но за ним стояла поддержка думских кругов и страшная сила черносотенного аппарата. Это был оригинальный и яркий мракобес реакции! О нем следует говорить спокойно, чтобы не впасть в грубообличительный тон,— грамотный советский читатель сам сделает выводы.

Пуришкевич — внук крестьянина, сын протоиерея, уроженец Бессарабии, мелкий землевладелец. Учился в университете, окончил историко-филологический факультет. Писал остроумные пародии, всегда был склонен к иронизированию серьезных вещей. Служил мелким чинушей в МВД (при хозяйственном департаменте), являлся идейным основателем «Союза русского народа», а когда в нем произошел раскол, он образовал свою партию — «Палату архангела Гавриила». Избирался депутатом в Думу трижды и, выходя на трибуну, выворачивал перед обществом свое реакционное нутро без маскировки, никогда не притворяясь передовой и светлой личностью. Его речи никогда не отвечали запросам русского общества, но зато имели острый характер и потому привлекали к себе внимание. По-своему (на монархический лад) Пуришкевич глубоко и надрывно любил Россию, он искренне страдал за неудачи русского народа, в его поступках никак нельзя отнимать мотивов «духа и сердца» (карьеристом он никогда не был!).

Убежденный враг народной демократии, он был также страстным врагом и левобуржуазных партий. Своих реакционных взглядов не скрывал, видимо не считая эти взгляды «дурной болезнью», которой следует стыдиться. А сам болел этой болезнью и много лет подряд лечился сальварсаном... Впрочем, был женат, имел двух сыновей, выпивал в меру, считался хорошим семьянином. О нем вспоминали потом, что «он обладал громадной инициативой, чрезвычайно обширным и разносторонним образованием и начитанностью в истории и классической литературе, большим ораторским талантом, обнаруживал на всех поприщах не совсем обычную для русских неутомимую деятельность...». С началом войны Пуришкевич заявил, что, пока льется кровь, он отказывается от политической борьбы. На свои личные деньги основал санитарный поезд, работу которого и возглавлял, спасая жизнь раненных на фронте. Средь военной публики Пуришкевич пользовался заслуженным уважением. При пенсне и лысине, он был отличным стрелком из револьвера, что и сыграло большую роль в сцене убийства Распутина.

Февральскую встретил враждебно, выступая за свержение Керенского, за реставрацию монархии. Скрываясь от ищеек, сбрил усы и бороду, сделавшись неузнаваемым. Керенский велел арестовать его как «врага народа». Когда охранники явились на Шпалерную, дом № 32, Пуришкевич сам же открыл им двери.

— Пуришкевича ищете? Нет его, канальи поганого...

И сам, со свечкою в руках, водил агентов Керенского по квартире, говоря, что негодяй Пуришкевич смылся. А когда охранники спускались по лестнице, он не выдержал (в нем проснулся юморист, желающий повеселиться над людской глупостью):

— Дураки, ведь я и есть тот самый Пуришкевич!

— Не морочь голову, Пуришкевич-то с бородой...

— А для чего же тогда существуют парикмахерские?

Со словами «там разберутся» его схватили. Керенский держал Пуришкевича в тюрьме, как своего личного врага, а Октябрьская революция отворила перед ним двери тюрьмы. Пуришкевич с борьбы против Временного правительства мгновенно переключился на борьбу с Советской властью. В ноябре был раскрыт обширный заговор, возглавляемый Пуришкевичем, и открытый суд Петроградского ревтрибунала приговорил его к четырем годам принудительных работ. Но 1 мая 1918 года Пуришкевич был освобожден[1] и тут же отъехал на юг страны, где в Ростове-на-Дону стал издавать черносотенную газету «Благовест». Одновременно он выпустил свою нашумевшую книгу об убийстве Распутина и продавал ее за пятнадцать рублей. Часть тиража книги он сдал на хранение в кафешантан Фишзона (где пела Иза Кремер и где убили Борьку Ржевского). Сионисты, нежно припавшие к трупу Распутина, гонялись за книжкой Пуришкевича, чтобы облить ее керосином и сжечь. Симанович в кабаре Фишзона уничтожил массу экземпляров. Пуришкевич открыл по нему огонь из револьвера на улице. Но «лутший ис явреив» имел свою охрану из девяти человек, и нападение было отбито. Деникинская контрразведка, как это ни странно, всегда была на стороне Симановича, а Пуришкевича за покушение выслали...

Вскоре он объявился в Новороссийске с целой серией публичных докладов на тему о «грядущем жидовском царстве». Сионисты, чтобы сорвать доклад, напустили на него лжематроса Баткина, колчаковского агента, о котором я уже писал в романе «Моонзунд» и повторяться не буду. Лекция была сорвана, а на другой день Пуришкевич опять стрелял в «лутшаго ис явреив». Симанович бежал, ища спасения у белогвардейского коменданта города.

Пуришкевич заболел тифом... и тут произошло необъяснимое. Его отвезли лечиться в еврейский госпиталь. «Врачебный персонал лазарета состоял исключительно из евреев, поэтому принятие в него Пуришкевича вызвало много толков... В лазарете,— писал Симанович,— раздавались замечания, что не стоит о нем заботиться». К удивлению врачей, Пуришкевич очень быстро пошел на поправку, удивляясь тому, что угодил в самый центр того «царства», против которого выступал. Но выздороветь ему не дали! Пуришкевичу был поднесен бокал шампанского, от которого он тут же скончался. «Признаться,— заключил Симанович,— известие о его смерти я принял с большим облегчением». После Пуришкевича остались две книги. Судьба жены и детей неизвестна.

. . . . . .

Когда анкета на убийц заполнена, я скажу главное: к этому времени уже окончательно вызрел заговор. Был задуман тронный переворот, каких уже немало знала история русской династии.

Убийство Распутина стояло в первом параграфе заговора! А затем на Царское Село должны двинуться четыре гвардейских полка, чтобы силой штыков заставить царя отречься от престола. Если откажется — убить! Алису упрятать в монастырское заточение. Царем объявить наследника Алексея (под регентством дяди Николаши).

Буржуазия, рвавшаяся к власти, была извещена о перевороте. Военная хунта выдвигала в регенты царского брата Михаила с его женою Натальей Брасовой.

Монархистам из этого плана удалось исполнить лишь пункт № 1, но до последнего они так и не добрались: две революции подряд разломали самодержавие, и его обломки оказались разбросаны по всему миру.

3. «НЕ СПРАШИВАЙ, НЕ ВЫПЫТЫВАЙ, ЛЕВКОНОЯ...»

Феликсу мать внушала, что «теперь поздно, без скандала уже не обойтись», от царя надо потребовать «удаления управляющего (так она звала Распутина) на все время войны и невмешательства Валиде (это про царицу) в государственные вопросы. И теперь я повторяю, что, пока эти два вопроса не будут ликвидированы, *ничего не выйдет мирным путем,* скажи это медведю Мишке (то есть Родзянке) от меня...». Мать дала понять сыну, чтобы крови он не боялся! Я склонен думать, что сильный моральный нажим со стороны княгини Зинаиды сыграл решающую роль; если при этом вспомнить, что княгиня уже давно замышляла убийство Распутина, щедро раскрыв свой кошелек перед А. Н. Хвостовым, то справедливо считать, что она же и толкнула сына на мысль о физическом истреблении «управляющего»... Это на нее похоже! Зинаида Юсупова до самой смерти гордилась, что ее сын убивал Распутина.

Речь Пуришкевича, прозвучавшая 19 ноября, была лишь отправной точкой для перехода к действиям. Однако еще задолго до этого Феликс начал искать пути к сердцу Распутина, снова установив с ним приятельские отношения; при этом он действовал через Муньку Головину, которая была рада возвращению князя в распутинскую компанию. Помирившись с Гришкой, Феликс направил свои аристократические стопы к «обще-

[1] В его характере была одна черта — искренность, которая многих подкупала. Известный чекист Я. Х. Петерс, член ЦК ВКП(б) и соратник Дзержинского, писал о причинах освобождения Пуришкевича, что он «держался хорошо, в результате произвел впечатление на некоторых товарищей, и когда вопрос (о нем) обсуждался в коллегии, то, благодаря одному воздержавшемуся, он остался жив...» (статья Я. Х. Петерса «10 лет ВЧК — ОГПУ»).

ственности», пытаясь в ее среде найти поддержку своим криминальным планам.

Он повидался с думским кадетом В. А. Маклаковым (братом бывшего министра внутренних дел Н. А. Маклакова) и напрямик сказал ему, что согласен отдать миллион, не задумываясь, любому типу, который согласится укокошить Распутина.

— Неужели,— спросил Юсупов,— нельзя найти очень хорошего убийцу, вполне надежного и благородного человека?

— Простите, князь, но я никогда не держал бюро по найму убийц,— отвечал Маклаков.— А как юрист могу сказать одно: убийство — вещь простая, зато возня с трупом — вещь сложная. Такие дела не так делаются! Наемные убийцы миллион от вас загребут, а за полтинник на пиво продадут вас полиции.

Разговор происходил на квартире Маклакова.

— Я бы и сам,— признался Феликс,— охотно угробил Гришку, но тут, понимаете, выпала экзаменационная сессия. Сдаю экзамены в Пажеском, приходится много зубрить... Просто некогда!

Маклакова стала мучить «гражданская совесть».

— Мне так неловко, что я отказываюсь от участия в замышляемом вами подвиге на благо Отечества. Чтобы вы не подумали обо мне скверно, я внесу достойный вклад в великое дело устранения с земли русской этой гнусной личности — Распутина!

Сказав так, юрист подарил Юсупову гимнастическую гирю в несколько фунтов весом, отлитую из чистого каучука.

— Простите, Василий Алексеич, а... зачем она мне?

— Как зачем? — возмутился блюститель закона.— Да такой гире цены нет! Вы берете ее вот так (Маклаков показал), размахиваетесь и со всей силы трескаете Гришку по кумполу... Бац! Еще удар, третий — и перед вами уже не Гришка, а его хладный труп! Как видите, убийство — дело простое, но я еще раз подчеркиваю, что предстоит утомительная возня с кадавром убитого...

Юсупов гирю взял, не сыскав более весомой поддержки в среде «общественности». Маклаков раскрыл лицо подлинного либерала: показал, как надо убивать, даже вручил орудие убийства, но сам, опытный юрист, от кровопролития уклонился.

Пуришкевич же не боялся замарать руки!

. . . . . .

Санитарный поезд Пуришкевича стоял в тупике товарной станции Варшавского вокзала, загружаясь по мере сил медикаментами и продуктами, чтобы в исходе декабря снова отправиться за партией раненых в Яссы... Юсупов сдавал экзамены, а Пуришкевич был занят беготней по всяким хлопотам. Однако они находили время для встреч, взаимно дополняя друг друга (Юсупов был собран и сдержан, а Пуришкевич горяч и быстро загорался). Феликс тихим голосом говорил, что время речевой терапии кончилось — пришел момент браться за хирургический нож...

21 ноября Пуришкевич вечером посетил Юсупова в его дворце на Мойке, и хозяин предупредил его, что квартира Распутина — мало подходящее место для расправы с ним:

— Толчется уйма народу, лучше убивать у меня.

Пуришкевич заметил, что напротив дворца, за каналом Мойки, виднелось здание полицейского участка:

— Услышат выстрелы и сразу сбегутся.

— Нужен яд,— ответил Юсупов, после чего они спустились в подвальное помещение дворца.— А здесь можно стрелять...

Подвал был необжит, и Пуришкевич сказал, что нельзя же Распутина принимать в подвале: он сразу почует неладное.

— Не волнуйтесь,— мило улыбнулся князь,— я уже нанял мастеров, и скоро этот подвал они превратят в роскошные апартаменты... Здесь я дам Гришке последний ночной раут!

Во дворец на Мойке прибыл стремительный, румяный с мороза Дмитрий Павлович, явился и капитан Сухотин, внешне неповоротливый, серьезный офицер, недавно вышедший из госпиталя после тяжелого ранения. Пуришкевич сказал им, что у него в поезде служит приятель, который тоже пойдет на убийство Распутина.

— Это доктор Станислав Лазоверт, поляк и хороший человек, получил за храбрость два «георгия», отличный автомобилист.

Юсупов стал развивать план убийства.

— Распутин относится ко мне хорошо и любит, когда я бываю у него, ему нравится, как я пою романсы под гитару. Я ему сказал, что моя жена Ирина хотела бы с ним познакомиться, и он сразу загорелся... Ирины нет в Питере и не будет! Она с нашей маленькой дочкой дышит кислородом в Крыму, где собралась сейчас вся моя родня. Но я уже сказал Распутину, что Ирина скоро приедет, и тогда они могут повидаться.

Великий князь Дмитрий заговорил об охране:

— Ее не проведешь! Помимо Ваньки Манасевича, который крутится на Гороховой, Гришку, как мне удалось выяснить от полиции, ежедневно берегут двадцать четыре агента.

Юсупов напомнил, что Распутина охраняют еще и «банковские» агенты. Он, кажется, спутал. Не банковские агенты, а тайная агентура Симановича, который из сионистского подполья берег Распутина,— как зеницу ока... Пуришкевич закрепил общий разговор, предложив всем встретиться 24 ноября:

— В десять вечера в моем вагоне...

За эти дни он вовлек в заговор доктора Лазоверта, и тот охотно согласился устранить Гришку с помощью цианистого калия. В вагоне-библиотеке, опустив на окнах плотные шторы, Пуришкевич принял заговорщиков, и два часа подряд они обсуждали предстоящее убийство — в деталях. Выяснилось, что Маклаков был прав, когда говорил, что возня с трупом — дело сложное. Сообща решили, что вода все грехи кроет: Распутина лучше всего засунуть под лед. Но для этого надо отыскать прорубь.

— Он же всплыть может,— говорил Пуришкевич,— значит, необходимы гири и цепи... Впрочем, я это беру на себя. А у вас, князь, как подвигается дело с ремонтом подвала?

— Монтеры уже налаживают электропроводку.

— Гришку,— сказал Дмитрий Павлович,— так ведь

просто в воду не швырнешь. Надо во что-то завернуть, антихриста!

— Не пожалею даже любимого ковра,— согласился Юсупов и передал Лазоверту цианистый калий (часть яда была в кристаллах, а частично яд был уже разведен во флаконе).

— Откуда он у вас? — полюбопытствовал врач.

— Это еще один щедрый дар конституционно-демократический партии: Маклаков отдарился сначала гирей, теперь ядом.

Следующую встречу назначили на 1 декабря; Пуришкевич обещал все-таки втянуть Маклакова в заговор, а Юсупов хотел поговорить на эту же тему с Родзянкой:

— Дядя Миша, как-никак, мой родственник...

28 ноября Пуришкевич снова заехал к Юсупову на Мойку, чтобы осмотреть работы в подвале. Войдя во дворец с главного подъезда, он был поражен громадной свитой княжеской челяди, которая во главе с ливрейным арапом встречала его.

— Вы что? И Гришку так же встречать будете?

— Да нет,— засмеялся Юсупов,— я всех холопов разгоню к чертовой матери, оставлю лишь двух дежурных солдат.

Осмотрев подвал, Пуришкевич спросил о Родзянке — согласен ли думский «медведь» ломать Гришкины кости?

— Дядя Миша от души благословил всех нас, сказал, что рад бы и сам удушить Гришку, но уже староват для этого дела.

— Ладно, а я сегодня нажму на Маклакова. Одной только гирей и ядом он от меня не отделается...

Пуришкевич посетил Таврический дворец, где усадил Маклакова под бюст царя-освободителя Александра II и долго втолковывал кадету, какая благородная задача стоит перед ними:

— Спасти Русь от этого чалдона... вы согласны?

Маклаков сложил ладони, как католик на молитве.

— Владимир Митрофаныч, душа вы моя! Обещаю вам, что когда вас схватят, я все свои юридические познания и весь опыт адвоката приложу к тому, чтобы вытащить вас из петли. Но убивать я... не умею! И очень прошу: сразу после убийства Гришки дайте шифрованную телеграмму из двух слов «когда приезжаете», тогда я пойму, что Гришка — ау, и смогу вздохнуть свободно...

Пуришкевич обругал кадета «кадетом»! Огорченный, он гулял с папиросой по Екатерининскому залу, когда его остановил националист Шульгин, попросивший у него прикурить.

— А вот новость!— сказал он.— Вашу речь от 19 ноября в Царском сочли крамольной и сейчас выпирают со службы сановников, которые отозвались о ней положительно...

Пуришкевич пытался и Шульгина втянуть в заговор, но Шульгин был человек острого ума, и он сказал вещие слова:

— Разве корень зла только в Распутине? Какой смысл убивать змею, которая давно ужалила? Яд распутинщины уже всосался в кровь нашей империи, и монархию ничто не спасет. Допускаю, что вы убьете Распутина, но разве в России станет лучше? Поздно вы схватились за топоры... Надо было еще в пятом!

В эти дни Юсупов, ведя оживленную переписку с сородичами, сообщил Ирине о намерении убить Распутина, и жена одобрила его замысел (она отвечала ему из Кореиза: «Главное — гадость, что ты решил все без меня. Не вижу, как я могу теперь участвовать, раз все уже устроено. По-моему, это дикое свинство...»). Ночью, ложась спать, Пуришкевич о том же поведал своей супруге:

— Тебе, дорогая, в ночь убийства предстоит не спать. Ты должна как можно жарче истопить печку в вагоне, привезут одежду Распутина, которую ты испепелишь во прах...

Утром доктор Лазоверт завел на морозе один из автомобилей санитарного поезда, которые обычно возились на платформах, и отвез Пуришкевичей на Александровский рынок, где супруги купили гири и цепи. Потом Пуришкевич с Лазовертом колесили по городу, высматривая проруби в реках и каналах. Стоял жестокий морозище, оба продрогли в машине и еле отогрелись коньяком. Они отыскали лишь два места для сокрытия трупа: одно на Средней Невке возле моста, перекинутого на острова, другое — слабо освещенный по вечерам Введенский канал, идущий от Фонтанки к Обводному, мимо Царскосельского вокзала... При сильном морозе только там чудом уцелели незамерзшие проруби!

Хотя в тайну заговора было посвящено немало посторонних лиц, никто из них не проболтался. Болтуном оказался сам... Пуришкевич, у которого наблюдалось «отсутствие задерживающих умственных центров». Аарон Симанович пишет, что заговор от самого начала раскрыл его тайный агент Евсей Бухштаб, который был «дружен с одним врачом по венерологическим болезням, фамилию которого я не хочу называть[1] ...он имел клинику на Невском проспекте. Пуришкевич у него лечился сальварсаном». После речи в Думе 19 ноября сионисты были очень встревожены; Бухштаб поручил венерологу Файнштейну узнать — ограничится ли Пуришкевич речью или перейдет к активным действиям? После очередного вливания сальварсана Пуришкевич прилег на кушетку, а Файнштейн умышленно завел разговор о Распутине; экспансивный и взрывчатый Пуришкевич тут же намолотил, что он устранит Распутина, а вся Дума, во главе с Родзянкой, с ним солидарна.

— А скоро ли это случится?— спросил венеролог.

— Очень скоро,— заверил его Пуришкевич...

Симанович сразу созвонился с Вырубовой, прося ее передать царю, чтобы в Ставку вызвали Файнштейна, который и доложит подробности; он поехал потом на Гороховую, где сказал Распутину такие слова: «Поезжай немедленно к царице и расскажи, что затевается переворот. Заговорщики хотят убить тебя, а затем очередь за царем и царицей... Скажи папе и маме, чтобы дали тебе миллион английских фунтов, тогда мы сможем оставить Россию и переселиться в Палестину, там можем жить спокойно. Я тоже опасаюсь за свою жизнь. Ради тебя,— закончил речь Симанович,— я обрел много врагов. Но я тоже хочу жить!»

Распутин, думая, выпил две бутылки мадеры.

— Еще рано,— сказал,— пятки салом мазать. По-

[1] Это был доктор Файнштейн.

гожу и царей тревожить. Ежели наши растократы на меня ополчатся, я сделаю так, что весь фронт развалится за одну неделю... Вот те крест святой: завтрева немцы будут гулять по Невскому!

Но Пуришкевич, проболтавшись о заговоре, не раскрыл участников его — и это спасло все последующие события.

. . . . . .

Юсупов сознательно зачастил в гости к Распутину, а тот, доверяя ему, вполне искренно говорил:

— Министером тебе бы! Хошь, сделаю?..

В белой блузочке, покуривая папиросы, в уголке дивана сидела, поджав ноги, Мунька Головина — слушала мужской разговор. Феликс осторожно выведывал у Распутина — каковы цели того подполья, которое им управляет; выяснилось, что людей, работающих на пользу сепаратного мира, Гришка называет зелеными:

— А живут энти зеленые в Швеции.

— У нас на Руси тоже есть зеленые?— спросил князь.

Распутин подпустил загадочного туману:

— Зеленых нет, а зеленоватых полно. У меня, брат, друзья не тока дома. За границей тоже людишки с башками водятся...

Бывая на Гороховой, князь внимательно изучал расстановку шпиков департамента полиции, интересовался, насколько точно они информированы об отлучках Распутина из дома. Вскоре Гришка начал проявлять горячее нетерпение:

— Слушь, Маленький! (Так он называл Юсупова.) А когда-сь Иринка-то из Крыма приедет? Говорят, красовитая стала. Ну вот... устрой!

1 декабря заговорщики еще раз встретились в поезде Пуришкевича; князь Феликс сказал, что надо кончать с Распутиным поскорее, ибо он сам торопит события, и если дело затянется, то это наведет его на подозрения. Пуришкевич настаивал на том, что пора назначить точную дату убийства. Но тут великий князь Дмитрий, полистав записную книжку, извинился:

— Я ведь человек светский, а значит, сам себе не принадлежу. До шестнадцатого декабря у меня все вечера уже расписаны.

Юсупов приятельски взглянул в его книжку.

— Митя, а вот пирушка... можно отказаться?

— Да никак! Встреча с товарищами по фронту.

— Итак, остается шестнадцатого декабря?— спросил Владимир Митрофанович.— Ну что ж. Давайте так. За эти дни надо успеть многое еще сделать. Шестнадцатого я нарочно приглашу членов Думы осмотреть мой поезд — для отвода глаз. А вы, князь, не забудьте поставить граммофон, который бы заглушал лишние шумы... Кстати, есть у Распутина любимая пластинка?

— Есть. Вы удивитесь — «Янки дудль дэнди».

— Отлично. Собираемся по звонку. В телефон надо сказать пароль: «Ваня приехал». А сейчас, господа, мы прощаемся...

В канун убийства доктор Лазоверт перекрасил автомобиль санпоезда, замазав на его бортах личный девиз Пуришкевича «Semper idem» («Всегда тот же»). Пуришкевич съездил в тир лейб-гвардии Семеновского полка, где из своего испытанного «соважа» выбил десять очков из десяти возможных по малозаметным подвижным целям.

Вечером, вернувшись в вагон-библиотеку, он заварил чай покрепче и примерил на руку стальной кастет. Подумал вслух:

— На худой конец можно и горшок ему расколоть...

Перед сном он читал оды Горация (в подлиннике), со вкусом декламируя по-латыни: «Не спрашивай, не выпытывай, Левконоя, нам знать не дано, какой конец уготовили тебе и мне боги...»

За стенкой вагона свирепел лютейший мороз.

4. ДО ШЕСТНАДЦАТОГО

В канун своей гибели Распутин добился того, чего не всегда удавалось добиться даже многим столбовым дворянам: его младшая дочь Варька была помещена императрицей в Институт благородных девиц (так назывался тогда Смольный институт); по екатерининскому статусу института смолянками могли стать лишь девицы благородного происхождения, деды и прадеды которых отличились по службе или на полях сражений. Слухи об этом небывалом ордонансе шокировали русское общество, вызвав возмущение не только среди столичной аристократии, но и среди всех мало-мальски мыслящих людей... Вскоре Варька приехала к отцу, жалуясь, что в Смольном кормят очень плохо, она голодная, кругом болтают по-французски, передник носить велят, но сморкаться в него не позволяют, подруг нету, все смолянки воротятся, говорят, что от нее пахнет свеженарубленной капустой...

Отец дал дочери разумный совет:

— Ежели они там все такие благородные, так и ты, Варюшка, будь благородной. Слюней во рте поднакопи да харкни в рожу энтим подруженькам, чтоб оне, стервы, тебя зауважали!

Кажется, совет имел практическое применение, после чего начался стихийный отлив смолянок из института. С утра до ночи подъезжали кареты и коляски — родители спешили забрать дочерей из благородного заведения, которое стало распутинским. В эти дни на квартире Распутина отчетливо прозвучал выстрел — это покончил с собой жених Варвары, офицер Гиго Пхакадзе; причина самоубийства осталась невыясненной.

. . .

Вплоть до 16 декабря он жил как обычно. Съедал по дюжине круто сваренных яиц, а скорлупу дамы разбирали по ридикюлям, считая ее божественной. Вырубова подавала на ломте хлеба соленый огурец, от которого старец лишь откусывал и отдавал ей обратно. Аннушка доедала огурец с невыразимым выражением восторженного благоговения на лице — круглом, как суповая тарелка.

Мунька Головина и Анюта Вырубова, как министры Распутина, занимали на Гороховой почти официальное чиновное положение, и на них (давно к ним привыкнув) он не обращал мужского внимания. Сейчас, после Сухомлиновой, в его сердце (а точнее в постели) пригрелась очень ловкая авантюристка Софья Лунц, на которую падает подозрение в распространении тех фаль-

шивых русских денег, что фабриковались в империи кайзера. Эта верткая дама, поддержанная Распутиным, мертвой хваткой уже вцепилась в Протопопова; Лунц желала сущей ерунды — возглавить в России «общественную разведку» по сбору информации о настроениях в публике, и Распутин горячо одобрял эту идею... Софья Лунц — самая темная из любовниц Гришки! С ее помощью шайка Симановича влезала в потаенное чрево тайного сыска, а Протопопов не понимал, что сионисты подбирали ключи к секретным сейфам МВД, чтобы потом подчинить своим планам весь аппарат министерства — самого влиятельного!

С декабря, путем немыслимых интриг и настойчивости императрицы, из тюрьмы был выпущен Митька Рубинштейн, который сразу же подарил Распутину за хлопоты пятьсот тысяч рублей. Алиса не удержалась и, роняя престиж своего самодержавного положения, лично отправила телеграмму: «*СИМАНОВИЧ ПОЗДРАВЛЯЮ — НАШ БАНКИР СВОБОДЕН. АЛЕКСАНДРА*».

Распутин велел Митьке Рубинштейну дать взятку и Добровольскому...

В этот же день Мунька Головина позвонила Добровольскому, приглашая его на Гороховую. Тот явился, как приказано, испытывая робкое дрожание всех членов.

— Вот что, паренек,— сказал Гришка сенатору,— мотай в Царское, я из тебя человека сделаю.

Скороход царицы встретил «паренька» на перроне вокзала, сопроводил на дачу Вырубовой. «А сбоку,— рассказывал Добровольский,— стояла ширмочка. Из-за этой ширмочки вдруг встает сестра милосердия, и я узнаю императрицу...» Тут старый вор и картежник узнал, что его ожидает пост министра юстиции. Столица наполнялась слухами — самыми мрачными, самыми фантастическими. Всюду открыто муссировалась последняя телеграмма Распутина, которую он послал императрице: «*ПОКА ДУМА ДУМАЕТ, У БОГА ВСЕ ГОТОВО: ПЕРВЫМ БУДЕТ ИВАН, ВТОРЫМ НАЗНАЧИМ СТЕПАНА*». Из отставки поднимались тени диктаторов — Ивана Щегловитова — в премьеры, а Степана Белецкого — в главные инквизиторы империи. Добровольский и Протопопов проводили ночи у мадам Рубинштейн; отчаянные спириты, они выведывали на том свете, что им делать на этом свете. А императрица слала отчаянные телеграммы в Ставку, чтобы муж срочно спихнул министра юстиции Макарова, ибо Добровольский уже взопрел на распутинских дрожжах и квашня лезла через края кадушки... «Действуй!»— заклинала она.

Действовал и Манасевич-Мануйлов; хотя Протопопов из тюрьмы его освободил, но министр юстиции Макаров, верный букве закона, продолжал под Ванечку подкопы, и это пугало Распутина:

— Коль тебя ковыряют, так и до меня, гляди, доковыряются. А я, брат, сплетен не люблю... ну их!

К заветной цели Ванечка избрал косвенный путь. Возле магазина золотых вещей Симановича остановился придворный автомобиль, из него вылезла, опираясь на палку, хромающая Вырубова, за нею — Ванечка в богатой шубе нараспашку.

— Нам нужен бриллиант,— сказала Анютка.

Аарон Симанович — это не Шарль Фаберже; я уверен, что Симанович не смастерил бы паршивой брошечки, он был только скупщик и перекупщик, ценивший бриллианты не за игру света в ракурсах призмовых граней, а лишь за количество каратов, с которыми он обращался, как дворник с дровами, распиленными и расколотыми на продажу... Вырубова сама, не доверяя вкусу ювелира, выбрала бриллиант, а Ванечка уплатил за него пятьдесят тысяч рублей.

— Для жены или для Лермы? — спросил его Симанович.

— Бери выше,— отвечал тот, довольный...

Этот бриллиант он торжественно вручил старшей дочери Распутина — Матрене, и подарок оценили как надо. 14 декабря Николай II военным засекреченным шифром передал свой приказ Макарову: «*ПОВЕЛЕВАЮ ВАМ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО О МАНУЙЛОВЕ И НЕ ДОПУСТИТЬ ЕГО СУДА. НИКОЛАЙ*». Министр юстиции при этом заметил:

— Если дело дошло до того, что мне отрубают руки, протянутые к заведомым уголовникам, значит, империя доживает последние дни... По сути дела империи уже нет — империя умерла!

. . . . . .

В подъезде распутинского дома охрана дулась в карты.

— Бью маза... у тебя шестерка? Пики!

Очередь просителей на прием к Распутину иногда начиналась от подъезда и тянулась до его квартиры на третьем этаже, просители забивали прихожую. Распутин, покрываясь бисерным потом, с матюгами, лая всех, карябал «пратеци». Иногда же филеры еще внизу лестницы предупреждали просителей:

— Сегодня приема нет — пьян в доску!

— Когда же он проспится?

— А черт его знает! Заходи завтрева.

— Вы уверены, что он будет трезвым?

— Мы уже давно ни в чем не уверены... Пики!

Синодальный чиновник Благовещенский не оставил по себе следов в русской истории. Но он был, увы, соседом Распутина по квартире, и, так как ему постоянно мешали шум, крики пьяных и вопли цыганских оркестров, то он решил отомстить Распутину... опять же в истории! Окно его кухни выходило как раз на окна распутинской квартиры, что давало возможность Благовещенскому наблюдать быт Распутина, так сказать, изнутри. Придя со службы, чиновник занимал свой пост возле окна и дотошно, как полицейский шпик, фиксировал на бумаге хронику распутинской жизни. Автор хроники давно канул в Лету, а дело его осталось:

«...веселое общество. Пляска, смех. К 12 ночи пришел струнный оркестр, человек 10—12. Играли и пели оперетточные мотивы. Неоднократно пропеты грузинские песни. Повторена после шумных оваций «Песнь о вещем Олеге» с выкриками «Здравия желаем, ваше превосходительство!». Распутин разошелся вовсю и плясал соло. Прибегали на кухню за закусками, фруктами, бутылками вина и морсом гости, больше дамы и барышни, очень оживленные, развязно-веселые.

...кутеж. Приглашен хор цыган, 40 человек. Пели и плясали до трех ночи, к концу были все пьяны. Распутин

выбегал на двор, приставал к женщинам, лез с поцелуями. Дамы, кстати, элегантно одеты, последний крик моды, не совсем уже молодые, так, в бальзаковском возрасте, но есть очень много свеженьких миловидных барышень, вид которых меня всегда поражал тем, что они слишком серьезны, когда идут к нему по двору или поднимаются по лестнице, как будто они идут на что-то серьезное.

...обычный день. Распутин обедал с семьей на кухне. Едят суп из одной все миски деревянными ложками. Очень много у них фруктов — апельсины, яблоки, земляника...»

15 декабря Юсупов опять повидал Распутина.

— Моя жена только что приехала из Крыма, хочет поговорить с тобой в интимной обстановке. Приходи завтра... Ирина только просит, чтобы ты пришел попозже, никак не раньше двенадцати. У нас будут обедать теща и другие дамы...

Юсупов писал: «Распутин поставил мне единственным условием, что я сам заеду за ним и привезу его обратно, и посоветовал мне подняться по черной лестнице... С изумлением и ужасом я констатировал, как легко он на все соглашался и сам устранял возможные осложнения». Распутин охотно шел в западню!

Между 1 и 16 декабря на квартире Распутина раздался телефоный звонок. Мелодичный женский голос спросил:

— Простите, это квартира господина Распутина?

— Евонная. А што надо?

— Вы не можете сообщить мне, когда состоится отпевание тела покойного Григория Ефимовича?

Распутин даже опешил. Оправившись от неожиданности, он покрыл женский голос виртуозным матом и повесил трубку.

Кто эта женщина? Зачем звонила? Я этого не знаю.

А профессор Милюков был прав, когда говорил, что вся эта авантюра с убийством Распутина была замышлена и исполнена «не по-европейски, а по-византийски»!

5. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕССИИ

Можно ли восстановить почасовой график последнего дня жизни Распутина? Да, можно. Я берусь это сделать, полагаясь на показания его домашних, дворников, швейцаров и городовых...

. . . . . .

Свой последний день Гришка начал с того, что, не вылезая из дому, в дымину напился. Около полудня приехала Мунька Головина и на многочисленные звонки по телефону отвечала, что сегодня приема не будет. Она пробыла на Гороховой до самого вечера, лишь ненадолго отлучаясь по своим делам. При ней Распутин начал сборы в баню, говоря, что ему надо «очиститься паром». Но при этом он никак не мог выбраться из постели.

— Вставай, хватит валяться,— тормошила его Мунька.

— Погодь. Сама торопишься и людей спешишь.

— Ты будешь сегодня дома?

— Ишь, верткая какая! Все тебе знать надобно...

Нюрка собрала ему бельишко, выдала банный веник.

— Ты, дядь, хоша бы из баньки трезвым приди.

— Ладно,— отвечал Гришка,— не липни ко мне...

По черной лестнице, чтобы избежать встреч с просителями, филерами и корреспондентами, он вышел из дома. Швейцариха М. В. Журавлева показала потом в полиции, что из бани Распутин возвратился еще пьянее (видать, «пивком побаловался»).

— А я сегодня поеду,— вдруг сознался он Муньке...

На вопрос, куда же он поедет, Гришка ответил: «Не скажу». В показаниях М. Е. Головиной запротоколировано: «Я ответила, что все равно я почувствую это, на что Григорий Ефимович сказал: «Почувствуешь, но меня не сыщешь». Весь этот разговор происходил в шутливом тоне, поэтому я никакого значения ему не придала...» Очевидно, в момент отсутствия Муньки на Гороховой появилась Вырубова, привезшая ему в дар от царицы новгородскую икону. «Я,— писала Вырубова уже в эмиграции,— оставалась у него минут 15, слышала от него, что он собирается поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову знакомиться с его женою... Хотя я знала, что Распутин часто видался с Феликсом, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно, но он ответил, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий сказал мне странную фразу: *«Что тебе еще нужно от меня? Ты уже все получила...»* Я рассказала государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной. «Должно быть, *какая-то ошибка,*— ответила государыня,— так как Ирина в Крыму, а родителей Юсуповых нет в городе...»

Потом Распутин завалился дрыхнуть и, очевидно, проснулся только около семи часов. Мотря с Варькой нафуфырились, собираясь идти в гости. Кажется, именно здесь он сказал дочерям, что ночью едет к Юсупову, но просил Муньке об этом не говорить («Отец мне разъяснил, что Головина может увязаться за ним, а Юсупов не хотел, чтобы она приезжала...»). Ближе к вечеру Распутина навестила какая-то женщина, пробывшая у него до 11 часов. Протокол свидетельствует: «Приметы этой дамы — блондинка, лет 25, выше среднего роста, средней полноты. Одета в пальто «клеш» темно-коричневое, такого же цвета ботинки, на голове черная шляпа без вуали».

Это была последняя женщина в жизни Распутина!

Она удалилась, надо полагать, как раз в то время, когда из гостей вернулись его дочери. Муньки уже не было, а дочери попили чаю, и Распутин велел им ложиться спать. Около полуночи в доме все затихло. Племянница Нюрка тоже завалилась в постель. В нашем распоряжении остался только один свидетель. Это Катя Печеркина, вывезенная из Покровского в помощь Нюрке на роль прислуги — старая деревенская пассия Гришки, которую он развратил еще смолоду... Именно-то при ней Распутин и начал готовиться к визиту во дворец князей Юсуповых!

Пуришкевич запомнил шелковую рубаху кремового цвета. Я больше верю Кате Печеркиной, которая сама

его обряжала. Распутин надел голубую рубаху, расшитую васильками, «но,— показывала Печеркина в полиции,— не мог застегнуть все пуговицы на вороту и пришел ко мне на кухню, я ему пуговки застегнула». При этом Гришка повертел шеей в тугом воротнике: «Фу, тесно-то как! Зажирел я, быдто боров какой...» Затем он натянул узкие хромовые сапоги, собрал их в гармошку — для шика! Рубаху подпоясал шелковым шнурком малинового цвета с золотыми кистями. Таков он был в эту ночь — в последнюю ночь своей жизни.

Одевшись, Гришка в сапогах завалился на кровать, велев Кате Печеркиной спать, но она засела на кухне, бодрствуя. Часы пробили полночь — Россия вступила в ночь на 17 декабря 1916 года, и эта ночь была, в своем роде, ночью исторической...

Далее, читатель, следуем показаниям дворника Ф. А. Коршунова, который во втором часу ночи, дежуря возле ворот, видел автомобиль «защитного цвета с брезентовым верхом и окнами из небьющегося стекла, сзади была прикреплена запасная шина». Автомобиль приехал со стороны Фонтанки и, ловко развернувшись, замер возле подъезда. Дворник запомнил, что шоферу около тридцати пяти лет, он был усат, в пальто с барашковым воротником, руки в длинных перчатках ярко-красного цвета (это он описал доктора Станислава Лазоверта). Из автомобиля вышел неизвестный для дворника господин — князь Феликс Юсупов.

На вопрос дворника «к кому?» Юсупов ответил: «К Распутину» — и добавил, что парадный вход открывать не надо, он пройдет по черной лестнице. Ф. А. Коршунов показал: «По всему было видно, что этот человек очень хорошо знал расположение дома». А черная лестница и была черной — на всех этажах не горело ни единой лампочки. Юсупов ощупью, часто чиркая спички, поднимался все выше — на третий этаж, из-под ног с фырканьем выскочила кошка... Вот и нужная дверь!

Феликс еще раз чиркнул спичкой...

. . . . . .

Пуришкевич этот день провел в своем поезде, не вылезая из купе, где читал, читал, читал... древних авторов! Только к вечеру, в половине девятого, он на дребезжащем от старости трамвае приехал не в Думу, а в городскую думу на Невском (известное ленинградцам здание с каланчой), где собирался убить время на пустопорожнем заседании по какому-то вопросу, не имеющему к Пуришкевичу никакого касательства. С ним был стальной кастет и револьвер системы «соваж». Зал думы не был освещен, швейцар сказал, что господа разошлись, заседание не состоялось за малою явкой депутатов. Пуришкевич взмолился, чтобы тот пустил его в кабинет, где он зажег настольную лампу и стал писать письма.

В эту ночь думец был облачен в форму офицера.

Покончив с письмами и глянув на часы, он не знал, что ему делать, и решил позвонить Шульгину... Сказал веско:

— Запомните: шестнадцатое декабря.

Шульгин понял, в чем соль этих слов, и ответил:

— Владимир Митрофаныч, не делайте вы этого!

— Как не делать?— оторопел Пуришкевич.— Согласен, что дело грязное. Но кто-то в истории человечества вынужден стирать грязное чужое белье, а вы, Василий Витальевич... белоручка!

— Может, и так. Но я не верю в его влияние. Все это вздор. Влиятелен не он сам, влиятельны те люди, за спинами которых он прячется...

Ровно в 11.50 Лазоверт подвел машину к зданию Думы, Пуришкевич уселся в кабину; развернувшись у Казанского собора, они долго ехали вдоль темной Мойки. Часы показывали первые минуты 17 декабря, когда доктор вкатил автомобиль на условленное место — внутрь двора юсуповского дворца, затормозив возле малого подъезда, через который Феликс должен будет провести Распутина в подвал. Сам хозяин дома, великий князь Дмитрий и капитан Сухотин встретили Пуришкевича и врача радостным возгласом:

— Вот и вы! А то ведь мы просто измучились...

Из верхней гостиной все пятеро спустились через тамбур по витой лестнице в подвал, который теперь никто бы не осмелился так назвать. За несколько дней рабочие превратили низы дворца в сказочное жилище принца. Пуришкевич был просто потрясен, не узнавая прежнего захламленного погреба, каким он был совсем недавно. Помещение разделялось сводами как бы на две комнаты. Неподалеку находилась дверь, ведущая на двор. По стенам висели портьеры, каменные плиты пола устилали драгоценные ковры и шкуры медведей. Старинная, удивительной выделки парча покрывала стол, вокруг которого сдвинулись черные кресла с высокими готическими спинками. На шифоньере красовалась дивная чаша из слоновой кости. Привлекал внимание шкафчик черного дерева — с инкрустациями, зеркалами и массой потайных ящичков. Над этим шкафчиком, трагически и скорбно, возвышалось драгоценное распятие — целиком из горного хрусталя с тончайшей чеканкой по серебру (работы итальянского мастера XVI века).

— Располагайтесь, господа,— радушно предложил Феликс, и все без церемоний, запросто расселись вокруг стола.

Юсупов вспоминал: «На столе уже пыхтел самовар, кругом были расставлены вазы с пирожными и любимыми распутинскими лакомствами. Старинные фонари с цветными стеклами освещали комнаты сверху. Тяжелые красные штофные занавеси были опущены. Казалось, что мы отгорожены ото всего мира. И, что бы ни произошло здесь ночью, все будет похоронено за толщею этих капитальных стен...»

Доктор Лазоверт щелкнул крышкой часов:

— Не пора ли все отравить? Уже время...

Юсупов сказал, что еще успеется, и предложил:

— Пока не отравлено, давайте, господа, выпьем по рюмочке и закусим этими очаровательными птифурами.

В каминах с треском разгорались дрова. Рюмки были из тяжелого, как свинец, богемского хрусталя. В бутылках — марсала, херес, мадера, крымское. Юсупов сказал, что Распутин будет ждать его с черной лестницы, дабы обмануть шпиков, следящих за парадным ходом. Дмитрий спросил его — спокоен ли Распутин?

— Нет причин волноваться. Мы с ним целуемся,

как отец с сыном, и он верит, что еще проведет меня в «министеры».

— Ты его не спрашивал — в какие министры?

— Это безразлично... Господа,— попросил Феликс,— прошу вас насвинячить на столе, ибо у Распутина глаз очень острый, а я предупредил его, что у меня сегодня гости...

Пуришкевич накрошил вокруг кусков кекса, надкусил пирожное да так его и оставил. («Все это,— писал он,— необходимо было, дабы, войдя, Распутин почувствовал, что он напугал дамское общество, которое поднялось сразу из столовой в гостиную наверх».) Настала торжественная минута... Лазоверт со скрипом натянул тонкие резиновые перчатки, растер в порошок кристаллы цианистого калия. Птифуры были двух сортов — с розовым и шоколадным кремом. Приподымая ножом их красивые сочные верхушки, доктор щедро и густо насыщал внутренность пирожных страшным ядом.

— Достаточно ли?— усомнился капитан Сухотин.

— Один такой птифурчик,— отвечал Лазоверт,— способен в считанные мгновения убить всю нашу конфиденцию...

Закончив возню с ядами, он бросил перчатки в камин. Растворенный яд решили наливать в бокалы перед самым приездом Распутина, чтобы сила циана не улетучилась. Юсупов сказал:

— Два бокала оставьте чистыми — для меня.

Сухотин задал ему естественный вопрос:

— А вы, князь, не боитесь перепутать бокалы?

Феликс со значением отвечал офицеру:

— Капитан, *со мною* этого никогда не случится...

Лазоверт облачился в шоферские доспехи; Феликс, под стать своим высоким охотничьим сапогам, накинул на себя длинную оленью доху шерстью наружу. Он посмотрел на часы.

— Я думаю,— сказал,— минут эдак через двадцать вы можете уже заводить граммофон. Не забудьте про «Янки дудль дэнди»!

Когда шум отъехавшего мотора затих, Пуришкевич отметил время: 00.35. Все покинули подвальное помещение, собрались в гостиной бельэтажа, капитан Сухотин уже копался в пластинках, отыскивая бравурную — с мелодией «Янки дудль дэнди» (пускай распутинская душа возликует!). Без четверти час сообщники снова спустились в подвал и аккуратно наполнили ядом бокалы.

Великий князь, закурив сигару, бросил спичку в камин.

— Итак, с розовым кремом отравлены, а Феликс уже знает, в какие бокалы налит нами цианистый калий.

Пуришкевич сказал — выдержат ли у Феликса нервы?

— Он у нас англоман, а у настоящих джентльменов нет нервов. Такие люди ничего не делают сгоряча, их поступки продуманны...

Сухотин спустился к ним — с гитарой в руках.

— Мы забыли об этой штуке, — сказал он, кладя гитару на тахту. — А вдруг Гришка захочет, чтобы ему сыграли?

. . .

Феликс еще раз чиркнул спичкой, осветив ободранную клеенку на дверях распутинской квартиры. Тихо, но внятно постучал.

— Кто там? — послышался голос.

— Это я... откройте.

Громыхнули запоры, Дориан Грей крепко обнял Распутина и поцеловал его — радостно. Гришка вроде шутя сказал ему:

— Мастак целоваться... Не иудин ли поцелуй твой?

С византийским коварством Юсупов еще раз горячо облобызал свою жертву и сказал, что машина подана... Все, кто видел Феликса в этот день, хорошо запомнили, что глаза князя были окантованы страшною синевой. На кухне «было темно, и мне казалось, что кто-то следит за мной из соседней комнаты. Я еще выше поднял воротник и надвинул шапку. «Чего ты так прячешься?» — спросил меня Распутин...» Нервные ощущения Юсупова не подвели его: в этот момент он действительно уже находился под негласным наблюдением.

Из показаний Кати Печеркиной: «Распутин сам открыл дверь. Входивший спросил: «Что, никого нет?», на что Григорий Ефимович ответил: «Никого нет, и дети спят». Оба прошли по кухне мимо меня в комнаты, а я находилась за перегородкой кухни и, отодвинув занавеску, видела, что прошел Маленький, это муж Ирины Александровны» (считайте, что убийца уже известен полиции!).

Юсупова, когда он прошел в комнаты, стало колотить, зубы невольно отбили дробь, и Распутин, заметив, что с князем не все в порядке, предложил ему успокоительных капель:

— Бадмаевские! Хошь, накапаю?

— Ну, давай. Накапай.

— Чичас. Как рукой все сымет. Хорошие капли...

Комичность этой сцены очевидна: жертва недрогнувшей рукой подносила успокоительную микстуру своему палачу, чтобы тот не волновался перед актом убийства. Юсупов жадно проглотил густую пахучую жидкость. Немного освоился, даже подал Распутину шубу; в передней Гришка нацепил на свои сапоги большущие резиновые боты № 10 фирмы «Треугольник». Покинули квартиру тем же черным ходом, минуя кухню, где их проводили все замечавшие глаза Печеркиной. На лестнице Гришка вцепился в руку Юсупова.

— Дай-кось я тебя сам поведу... Темно-то как! Во где убивать людей хорошо. Не хошь ли, я тебя угроблю?

— Что за глупые шутки! — возмутился князь.

— Ха-ха-ха... Осторожней. Здеся ступенька...

Бадмаевские капли подействовали, и далее, до какой-то определенной черты, Юсупов сохранял воистину спартанское спокойствие. Лазоверт завел мотор, велел пассажирам плотнее захлопнуть дверцы кабины, и автомобиль поплыл между сугробов вдоль заснеженной улицы, подмигивая редким прохожим желтыми совиными глазами фар... Распутин устроился поудобнее и начал:

— Иринку-то покажешь?

— Покажу.

— А не боишься? — с бесовской вежливостью спросил Гришка, хихикнув, и больно пихнул Юсупова в

бок. — Сам ведь знаешь, каки слухи-то обо мне ходят... Мой грех — бабье люблю.

Здесь же, в машине, он признался:

— А ко мне тут Протопопов заезжал. Говорит, меня убить кто-то хочет. Но этот номер у них не пройдет. Я ему так и сказал — руки коротки!

6. ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ РАУТ

Заранее предупреждаю: следственное дело об убийстве Распутина сожжено лично Николаем II сразу же после революции, а само убийство, несмотря на каящееся изобилие материалов, до сих пор полностью еще не раскрыто, будучи отлично замаскировано самими же убийцами. Меня не покидает ощущение, что помимо пяти участников убийства в юсуповском дворце был *кто-то* еще. Кто они? Об этом убийцы сохранили мертвое молчание. В литературе имеется намек, будто в задних комнатах дворца сидел сам А. Н. Хвостов, бывший министр внутренних дел. Мало того, полиция зафиксировала женские крики, но имен этих женщин раскрыть уже не удастся. Во всяком случае, там не было знаменитой красавицы Веры Каралли, а слухи упорно держались, что не Ирина, а именно она, звезда русского киноэкрана, послужила главной приманкой для вожделений Распутина. Я пришел к выводу, что заговор раскинулся гораздо шире, нежели о нем принято думать. Глухая тропинка домыслов заводит меня даже в крымский Ай-Тодор, где проживала императрица Мария Федоровна. Гневная, несомненно, была поставлена в известность, что Распутин будет устранен с горизонта русской действительности...

Итак, продолжим отбор фактов! Пуришкевич сказал:

— Едут. Капитан, ставьте «Янки дудль дэнди».

На дворе хлопнула дверца автомобиля, послышался топот распутинских ног, отряхивающих снег с ботов, и — голос:

— Кудыть идти-то мне, мила-ай?

— Вот сюда,— мелодично ответил Юсупов.

Пуришкевич продел пальцы в дырки кастета.

. . . . . .

Музыка и голоса сразу привлекли его внимание.

— Никак гости у тебя?

— Это у жены. Скоро уйдут...

Гришка с любопытством ребенка обошел помещение, разглядывая убранство. «Шкафчик с инкрустациями особенно заинтересовал его. Он, как дитя, забавлялся тем, что выдвигал и задвигал многочисленные ящички». Юсупов далее пишет, что в этот момент он сделал последнюю попытку уговорить его покинуть столицу, но я не верю в это, — не ради отъезда Распутина был составлен заговор! Феликс придвинул пирожные, взялся за бутылку.

— Хорошее крымское из моих имений... попробуй.

— Не, — сказал Распутин. — У меня ишо опосля вчерашнего гудит все. Давеча уже похмелял себя... Не буду пить!

«Но я твердо решил, писал Юсупов, что он ни при каких обстоятельствах живым отсюда не выйдет».

— Пирожные вот... угощайся.

— А ну их... Сладкие? Что я, не маленький.

Делать нечего, надо заводить беседу.

— Так зачем к тебе заезжал Протопопов?

— Все об этом... быдто меня умертвить хотят.— Распутин вдруг треснул кулаком по столу, так что рюмки вздрогнули; поблескивая глазами, заговорил напористо: — Ничего со мной не случится! Нет таких мазуриков, которых бы я боялся. Уж скока раз хотели меня продырявить, но господь всегда разрушал козни нечистого. Погибнет тот, кто руку на меня вздымет!

Юсупову от этих слов стало не по себе, но князь успокоился, когда Гришка вполне ровным голосом попросил чаю.

Феликс поднялся, сказал невозмутимо:

— Будет и чай. Я на минутку отлучусь...

Он поднялся наверх, где маялись заговорщики.

— Что делать? Эта зажравшаяся скотина ото всего отказывается. Вина не хочет. От пирожных воротится.

— А как его настроение? — был задан вопрос.

— Н-нева-ажное, — с заминкою произнес Феликс. — Похоже, он о чем-то догадывается... намекает!

Дмитрий Павлович горячо заговорил:

— Феликс, не оставляй его одного. А вдруг он, привлеченный граммофоном, пожелает подняться сюда...

— Веселое дело,— буркнул Пуришкевич,— если он здесь увидит его высочество с револьвером и мое ничтожество с кастетом!

— Надо без шума, — добавил Лазоверт.

Юсупов спустился вниз — к Распутину.

— Чаю подожди. Все-таки давай выпьем...

Гришка согласился: «А! Налей». Хлопнула пробка, и этот звук был услышан наверху («Пьют, — шепнул Дмитрий, — теперь ждать осталось недолго...»). Но Юсупов по причине, которая и самому была непонятной, наполнил вином те бокалы, в которых не было яда. Распутин с удовольствием выпил.

— А вон мадерца, — узрел он. — Плесни-ка мадерцы.

Юсупов, чтобы исправить свою ошибку, хотел наливать мадеру в бокал с ядом, но Распутин неожиданно заартачился:

— Лей в эту, из которой я уже пил.

— Да ведь нельзя мешать крымское с мадерой.

— Лей, говорю. Ты ни хрена не понимаешь.

Феликс доказал, что нервы у него крепкие. Одно неверное движение, и бокал, из которого пил Распутин, упал и разбился.

— Ну вот, — заворчал Гришка, — ты хуже коровы...

Мадеру с цианистым калием он пил с особенным удовольствием, причмокивая, похваливал. Потом сказал:

— Чего ж это Иринка твоя не идет? Я, знаешь, брат, ждать не привык. Даже царицка меня ждать не заставляет.

— Погоди. Придет.

— Налей-ка еще, — протянул Распутин бокал...

С неохотой съел пирожное с ядом. Понравилось — потянулся за вторым. Юсупов внутренне напрягся, готовый увидеть перед собой труп. Но Распутин жевал, жевал... Он спокойно доедал восьмой птифур. И, поднося руку к горлу, массировал его.

— Что с тобою? — спросил Юсупов в надежде.

— Да так... першит что-то.

«Распутин преспокойно расхаживал по комнате. Тогда я взял второй бокал с ядом, наполнил его вином и протянул Распутину. Тот выпил его с тем же результатом... Внезапно его лицо исказилось яростью. Ни разу я не видел его таким страшным. Он вперил в меня взгляд, полный сатанинской злобы... Между нами как будто шла безмолвная, таинственная и беспощадная борьба».

— Чаю подавать? — спросил Юсупов.

— Давай. Жажда началась... мучает...

Увидев на тахте гитару, он попросил спеть ему. «Мне нелегко было петь в такую минуту, однако я взял гитару и запел:

Все пташки-канарейки так жалобно поют,
А нам с тобой, мой милый, разлуку подают.
Разлука ты, разлука, чужая сторона,
Никто нас не разлучит, одна сыра земля.
Подайте мне карету да сорок лошадей,
Я сяду и поеду к разлучнице своей...»

В это время наверху Пуришкевич сказал:

— Ничего не понимаю... Причем здесь песни?

— Я тоже,— поддержал Дмитрий,— не могу уяснить, что там творится. Если Распутин мертв, то не сошел же Феликс с ума, чтобы распевать над покойником дурацкие песни. А если Распутин жив, тогда для меня останется загадкой назначение цианистого калия... Ничего не поделаешь — надо сидеть и ждать.

Часы отмечали половину третьего. Юсупов уже стал бояться, что заговорщики, не выдержав напряжения, ворвутся в подвал.

— Я схожу посмотрю, что там у моей жены...

Капитан Сухотин держался молодцом, а доктор Лазоверт скис. Сначала он нервно мотался по комнатам, пересаживаясь из одного кресла в другое, потом осунулся и стал белым-белым.

— Господа, мне дурно,— сознался он.— Никогда не думал, что могу быть такой тряпкой. Стыжусь... простите меня...

Два «георгия» украшали грудь этого врача, не раз смотревшего в лицо смерти. Но одно дело — война и фронт, другое — убийство. Пуришкевич посоветовал ему выйти во двор, умыться снегом. Лазоверт спустился к автомобилю, где упал в обморок и долго лежал на снегу. Юсупов тем временем поднялся наверх.

— Что-нибудь одно: или наш Распутин действительно святой, или... Будь проклят Маклаков, давший нам калий! Яд беспомощен. Гришка выпил и сожрал все, что отравлено. Но только рыгает и появилось сильное слюнотечение... Нужно решать скорее, ибо скотина выражает крайнее нетерпение, отчего Ирина не приходит, и он измучил меня вопросами... Даже подозревать стал...

Великий князь сказал, даже с облегчением:

— Видать, не судьба! Отпустим Гришку с миром... Будем искать случая расправиться с ним в ином месте.

— Тогда зачем же вся эта комедия? — вспылил Сухотин.

— Отпустить? — забушевал Пуришкевич.— Ни в коем случае! Если животное загнали на бойню, значит, надо выпустить кровь... Второй раз его так удачно не заманишь... зверь хитрый. А живым он отсюда выйти не должен!

— Но как же быть? — растерянно спросил Митя.

— Я его расстреляю.. Я размозжу ему череп кастетом...

Со двора пришел Лазоверт, малость очухавшийся от холода, и ему вручили каучуковую гирю — дар Маклакова.

— Доктор, вы будете бить его этой штукой.

— Благодарю за доверие. Я постараюсь...

Дмитрий прокрутил барабан револьвера. То же сделал и капитан Сухотин. Юсупов сунул в карман браунинг. Пуришкевич с кастетом и «сова́жем» возглавлял процессию убийц, которую замыкал доктор Лазоверт, торжественно несущий над собой дурацкую гирю для гимнастических упражнений... Внизу громко рыгал Гришка.

Пуришкевич писал: «Мы гуськом (со мною во главе) осторожно двинулись к лестнице и уже спустились было к пятой ступеньке», когда Юсупов задержал это комическое шествие, здраво сказав:

— Господа, для этого хватит и одного человека...

Он вернулся в погреб. Распутин тяжело дышал.

— Как самочувствие? — любезно осведомился хозяин.

— Жжет что-то:.. першит... изжога...

Очевидно, яд все-таки подействовал на этого зверя.

Но Юсупов недоумевал, как великий провидец не мог заметить браунинг в его руке, заложенной за спину. Он сказал:

— Гости ушли. Ирина сейчас спустится к нам...

Обдумывал, куда целить — в висок или в сердце?

— А ты еще не смотрел хрустальное распятие?

— Какое?

— А вот это...— показал ему князь.

Распутин охотно склонился над распятием.

Выстрел!

Юсупов стрелял несколько сверху, и пуля, войдя в Распутина, прошла через легкое, едва не задев сердце, после чего застряла в печени[1]. Гришка издал протяжный рев, но продолжал стоять на ногах. Феликс толкнул его — он упал на медвежьи шкуры. Заговорщики, услышав выстрел, почти кубарем ссыпались вниз по лестнице. При этом кто-то из них плечом задел штепсель — электричество погасло, впотьмах Лазоверт налетел на князя и громко вскрикнул («Я не шевелился,— писал Юсупов,— боясь наступить на труп...»).

— Да зажгите же свет, черт вас побери! — велел он.

— Сейчас, сейчас,— отвечал ему голос Дмитрия.

Ярко вспыхнул свет, и они увидели Распутина, лежавшего на спине поперек шкуры. По лицу его пробегала судорога, одной рукой он закрывал себе глаза, а пальцы другой были сведены в крепкий кулак. Крови не было! Над Гришкой, сжимая браунинг, стоял Юсупов, и заговорщики были восхищены его удивительным спокойствием.

---

[1] На судебном процессе кн. Ф. Ф. Юсупова в США (1965 г.) на вопрос адвоката, сколько сделано выстрелов в Распутина, князь после долгого размышления дал ответ, что выстрелил дважды. Очевидно, это ошибка — выстрел был сделан один.

— Надо перетащить со шкуры,— сказал он,— чтобы на ней не оставалось никаких пятен...

Пуришкевич взялся за плечи, великий князь за ноги, вдвоем они перенесли Гришку на плиты каменного пола. Ползая на коленях, над ним склонился врач Лазоверт, щупал пульс:

— Агония. Но минуты две-три еще будет жить...

— Подождем, пока не сдох окончательно!

Лазоверт произнес два роковых слова: «*Он мертв*»,— и тогда заговорщики вышли из погреба, последний из них погасил за собою свет. Все собрались наверху, стали дружно чокаться бокалами, Лазоверт порозовел, говоря:

— Противная это штука — убийство...

— Ах, доктор, доктор! Сейчас не до лирики.

— Господа,— спросил Митя,— а вы заметили, какая у него борода? Она лоснится от каких-то дорогих парижских специй...

— Однако,— заметил Сухотин,— уже четвертый!

Да. Следовало поторопиться. Согласно плану Дмитрий и Лазоверт должны отвезти старца домой, а роль Распутина взялся сыграть Сухотин, который уже напялил распутинскую шубу и его шапку. На случай, если тайная полиция их выследила; они должны завернуть на Гороховую, после чего ехать на Варшавский вокзал, там оставят машину санитарного поезда, возьмут извозчика и, заехав во дворец Дмитрия, на его автомобиле вернутся обратно — за телом Распутина... Все ясно!

Пуришкевич напомнил Сухотину:

— На вокзале вас встретит моя жена, вы отдайте все вещи Распутина, и она сразу же приступит к их сжиганию.

Они уехали, во дворце остались Юсупов и Пуришкевич.

— Да оставьте вы свой «соваж»,— сказал Феликс.

Пуришкевич положил свое оружие на письменный стол. Юсупов переоделся в офицерскую тужурку с погонами генерал-адъютанта. Дворец был пустынен, и в нем было тихо, как в гробу. Говорить не хотелось. Молодой князь с синяками под глазами сидел в кресле, покуривая египетскую сигарету. Пуришкевич напротив него помаленьку, но часто подливал себе французского коньяку.

— Редко приходится выпивать,— жаловался он...

Напряженная нота звучала в мертвой тишине ночного дворца. Внизу (они постоянно помнили об этом!) лежал убитый Распутин. Что-то неуловимое и острое коснулось сердца каждого... Юсупов и Пуришкевич *одновременно испытали психический толчок.*

Юсупов вспоминал об этом моменте кратко: «Вдруг меня охватила непонятная тревога». Пуришкевич писал: «Твердо помню, что какая-то внутренняя сила толкнула меня к письменному столу Юсупова, на котором лежал вынутый из кармана мой «соваж», как я взял его и положил обратно, в правый карман брюк...»

Феликс размял в пепельнице ароматную сигарету.

— Я спущусь вниз,— сказал он.

— Хорошо,— ответил Пуришкевич и, запустив руку в карман брюк, он переставил оружие на «feu» (открытия огня).

. . . . . .

Юсупов включил свет в подвале. Распутин лежал в той же позе, в какой его оставили. Ни малейшего биения пульса не прощупывалось в его запястье. «Сам не знаю почему,— писал Юсупов,— я вдруг схватил труп обеими руками и сильно встряхнул его. Он наклонился на бок и снова упал. Я уже собрался уйти...»

Итак, все кончено. Распутин мертв.

7. «ВИЗАНТИЙСКАЯ» НОЧЬ

Распутин не был мертв... Он открыл сначала один глаз, потом второй, и под упорным взглядом его князь Юсупов невольно оцепенел. Очень хотелось бежать, но отказывались служить ноги. Распутин долго смотрел на своего убийцу. Потом четко сказал:

— А ведь завтра, Феликс, ты будешь повешен...

Юсупов молчал, завороженный. И вдруг одним резким движением Распутин вскочил на ноги («Он был страшен: пена на губах, руки судорожно бьют по воздуху»). Он часто повторял:

— Феликс... Феликс... Феликс... Феликс...

Кинулся на Юсупова и вцепился ему в горло.

Завязалась страшная, драматическая борьба.

Отбиваясь от Распутина, повисшего на нем, Феликс вытащил его на себе в тамбур, как водолаз вытаскивает из мрачной бездны противно облепившего его осьминога. Князю удалось расцепить Гришкины пальцы, в замок сведенные на его шее. При этом в руке Распутина остался тужурочный погон с вензелем Николая II.

— Пуришкевич, скорее сюда! — взмолился Юсупов.

— Феликс, Феликс... повесят! — завывал Распутин.

«Ползя на животе и на коленях, хрипя и рыча, как дикий зверь, Распутин быстро взбирался по ступеням. Зесь подобравшись, он сделал прыжок и очутился возле потайной двери, ведущей во двор...» Здесь начинается какая-то мистика! Выходная дверь была закрыта, а ключ от нее лежал в кармане Юсупова.

Распутин толкнул ее, и она... отворилась[1].

Распутин шагнул на мороз, во мрак и... пропал.

Юсупов, взбежав наверх, рухнул на диван.

— Скорее туда... стреляйте! Он жив... жив...

Пуришкевич увидел закатившиеся глаза князя. Молодой тридцатилетний мужчина лежал в глубоком обмороке. Что делать? Приводить в чувство Юсупова или гнаться за Гришкой? Пуришкевич бросил князя, а сам — та-та-та-та! — по лестнице: вниз.

Через раскрытую дверь в тамбур вливались клубы морозного пара. «То, что я увидел внизу, могло бы показаться сном, если бы не было ужасной действительностью: Григорий Распутин, которого я полчаса тому назад созерцал при последнем издыхании, переваливаясь с боку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей

[1] Н. М. Романов (историк) полагал, что виноват в этом Дмитрий Павлович, который, уезжая с Лазовертом и Сухотиным, забыл затворить за собой дверь.

на улицу...» До ушей Пуришкевича долетал истошный вопль убегавшего:

— Феликс, Феликс, завтра все расскажу царицке...

Пуришкевич для начала выпалил в небо (просто так, для разрядки напряжения). Он настигал Распутина, попадая ботинками в его же следы на снегу. Заметив погоню, Гришка припустил быстрее. Дистанция — двадцать шагов. Стоп.

Прицел. Бой. Выстрел. Отдача в локте. Мимо.

— Что за черт! Не узнаю я сам себя...

Распутин уже был в воротах, выводящих на улицу. Выстрел — опять мимо. «Или он правда заговорен?»

Пуришкевич больно укусил себя за кисть левой руки, чтобы сосредоточиться. Гром выстрела — точно в спину. Распутин воздел над собой руки и остановился, глядя в небо, осыпанное алмазами.

— Спокойно,— сказал не ему, а себе Пуришкевич.

Еще выстрел — точно в голову. Распутин волчком закружился на снегу, резко мотал головой, словно выбрался из воды после купания, и при этом опускался все ниже и ниже. Наконец тяжко рухнул в снег, но еще продолжал дергать головою. Пуришкевич, подбежав к нему, с размаху треснул Гришку носком ботинка в висок. Распутин скреб мерзлый наст, делая попытки отползти к воротам, и страшно скрежетал зубами. Пуришкевич не ушел от него до тех пор, пока тот не умер...[1]

С уверенностью человека, сделавшего нужное дело, Владимир Митрофанович невозмутимо зашагал обратно во дворец. Его смущало только одно обстоятельство: во время стрельбы — боковым зрением! — он заметил, как за решеткой дворца шарахнулись с панели прохожие, а где-то вдалеке уже бухали сапоги городовых.

Юсупов на правах генерал-адъютанта царя держал при главном подъезде дворца двух солдат (вроде денщиков). Пуришкевич знал об этом и направился прямо к ним. Сказал:

— Ребята, я сейчас угробил Гришку Распутина.

— Слава богу! Нет более супостата.

— Сумеете ли вы молчать об этом?

— Мы люди простые — трепаться не наше дело...

Пуришкевич попросил их втащить Распутина в тамбур дворца. Сам поднялся наверх. Юсупова на диване не было. А из туалета раздавались булькающие звуки. Пуришкевич прошел в ярко освещенную уборную. Русский Дориан Грей внаклонку стоял над унитазом, его мучительно рвало. Пуришкевич сказал ему, что Распутина больше нет — тело его сейчас притащат солдаты...

Глядя поверх унитаза, Юсупов бубнил:

— Феликс, Феликс... бедный мой Феликс!

«Очевидно, писал Пуришкевич, что-то произошло между ним и Распутиным в те короткие мгновения, когда он спустился к мнимому мертвецу в столовую, и это сильно запечатлелось в его мозгу». Понемногу князь пришел в себя, они спустились в тамбур как раз в тот момент, когда солдаты втаскивали со двора труп Распутина. Здесь произошло что-то непонятное и дикое! Юсупов с криком взлетел по лестнице обратно в гостиную и тут же вернулся с каучуковой гирей в руках.

— *Он жив!* — провозгласил Феликс, вздымая гирю.

Пуришкевич и солдаты в ужасе отпрянули, увидев, что Распутин начал шевелиться. «Перевернутый лицом вверх, он хрипел, и мне совершенно ясно было видно, как у него закатился зрачок правого, открытого глаза...» Неожиданно зубы убитого громко лязгнули, как у собаки, готовой кинуться на врага. При этом Распутин начал вставать на карачки. Полновесный удар гирей в висок прикончил его попытку оживления. Придя в бурное неистовство, Юсупов теперь регулярно вздымал над собой и ритмично, как молотобоец, опускал на голову Распутина каучуковую гирю. С противным хряском расплющился нос Распутина, хрустнувший череп окрасился кровью, а вся борода сделалась ярко-красной... Пуришкевич опомнился первым:

— Ребята, да оттащите же вы его поскорее!

Солдаты схватили генерал-адъютанта сзади. Князь в каком-то трансе продолжал взмахивать гирей и кричал:

— Все... Феликс... повешен... Феликс... Феликс!

Юсупов, как мясник на бойне, с ног до головы был в крови, а солдаты, не искушенные в науке криминалистики, завалили его на диван, отчего и вся обивка дивана оказалась испачкана распутинской кровью. Пуришкевич взбодрил себя рюмкой коньяку, сорвал с окон красные штофные занавеси. С помощью солдат он туго пеленал Гришку для его последней колыбели. Распутина вязали столь плотно, что коленки его задрались к подбородку, потом куль с трупом солдаты стянули веревками и, довольные, сказали:

— А хоть багажом до деревни... не рассыпется!

— Сейчас за ним приедут. Это уж наше дело...

Кровь была на лестнице, на стенах, кровь струилась из-под трупа, Пуришкевич тоже весь измарался в крови.

— Там во дворе бегает какая-то собака,— неожиданно сказал Юсупов.— Надо бы ее пристрелить и проволочить по снегу...

Убитую собаку протащили вдоль следов Гришки Распутина — в направлении ворот, и кровь собачья перемешалась с Гришкиной. Городовой Степан Власюк, дежуривший в эту ночь на углу Прачешного и Максимилиановского переулков, пришел справиться о причине выстрелов. Пуришкевич показал ему на Юсупова:

— Служивый, знаешь ли ты этого человека?

— Ыхние сясества все знают.

— А меня знаешь?

— Извиняйте — не встречал.

Пуришкевич (уже не кристально трезвый) назвал себя и обрисовал городовому свое общественное положение, после чего сказал: если тот любит Россию и царя-батюшку, то должен молчать.

— Мы только что убили собаку! — сообщил он.

— Какую собаку? — удивился городовой.

[1] Существует версия, по которой Пуришкевич преследовал Распутина не один — с ним была женщина, тоже стрелявшая, аристократка из очень древней русской фамилии.

— Распутина! — брякнул Пуришкевич...

Власюк обещал доложить по инстанции только об убийстве собаки, но ежели начальство спросит о Распутине, тогда, верный присяге, он вынужден будет сказать не только о собаке. Городовой удалился, а во двор, ослепляя окна дворца фарами, вполз автомобиль Дмитрия Павловича... Юсупова решили пощадить — его оставили дома, вместо князя попросили ехать одного из солдат. Распутина с трудом запихнули в кабину, Лазоверта сменил на руле великий князь, который на полной скорости и погнал машину к Малой Невке. На неизбежных ухабах отчаянно громыхали цепи и чугунные гири, взятые для потопления трупа. Пуришкевич с удивлением обнаружил у себя под ногами шубу Распутина, шапку и боты.

— Как же так? — возмутился.— Почему не сожгли?

— Вы уж меня извините,— ответил великий князь,— но я сейчас на вокзале поругался с вашей женой. Она ни в какую не брала от нас шубу Распутина на том основании, что шуба в печку не залезет, а пороть ее по швам и резать — работы до утра...

— Так что же она взяла от вас?

— Только перчатки Распутина.

— Ну, я покажу ей...

Свет фар выхватил из мрака будку, в которой безмятежным сном праведника отчетливо дрыхнул страж Б.-Петровского моста. Дмитрий не стал выключать мотор: «Быстро, господа, быстро!» Четверо сильных мужчин, раскачав узел с трупом, швырнули его с моста вниз, где темнела прорубь. Тихо всплеснула черная стылая вода, и Пуришкевич издал слабый стон:

— Боже мой, какие же мы все идиоты...

— Что еще случилось? — спросил Сухотин.

— Надо ведь было прежде обмотать его цепями и привесить гири... Нет, профессиональных убийц из нас не получится!

Второпях побросали гири вслед Распутину; кое-как обмотали цепями шубу — тоже зашвырнули ее в окно проруби. Лазоверт, обшарив автомобиль, извлек один бот и отправил его за поручни моста. Пуришкевич спросил, где второй бот.

— А откуда я знаю,— отвечал доктор.

— Плохо, коллега, что вы этого не знаете...

— Поехали! — скомандовал Дмитрий.

Пуришкевич долго молчал, потом сказал:

— Видал разных дураков, но таких, как мы, господа, еще поискать надо! Отправив Распутина под лед, мы совершили чудовищную ошибку. Надо было оставить труп где-либо на виду, чтобы полиция его сразу обнаружила. А тайное захоронение Распутина грозит России тем, что могут появиться лжераспутины.

Сухотин буркнул:

— Да кому охота быть Распутиным?

— Не говорите так, капитан,— с умом ответил Пуришкевич,— это ведь дело прибыльное, дающее немало выгод...

Во дворе дворца Сергея Александровича (на Невском, возле Аничкова моста) осветили кабину — нашли второй бот Распутина и заметили, что вся кабина изнутри окрашена Гришкиной кровью.

— И я в крови,— сказал Дмитрий, снегом оттирая шинель.— Где это я умудрился вляпаться?

Все хотели лечь спать, но Лазоверт сказал:

— А не лучше ли нам сразу во всем сознаться?

Это наивное предложение было поддержано единогласно. Дмитрий как член императорской фамилии стал названивать на квартиру министра юстиции А. А. Макарова, но дежурный курьер, сидевший возле аппарата, неизменно отвечал:

— Посмотрите на часы — всего пять утра.

Трубку перенял у Дмитрия сам Пуришкевич, строгим тоном велел курьеру разбудить Макарова, которому и сказал:

— Ваше высокопревосходительство, случилось событие величайшей важности, имеющее государственное значение... это не для телефона! Мы должны приехать к вам для доклада.

Макаров, зевая в трубку, сказал, чтобы приезжали к нему на Итальянскую. Министр встретил их посреди большого кабинета. Было шесть утра. Макаров не садился (и все стояли). Пуришкевич сообщил:

— ...С заранее обдуманным намерением мы совершили убийство мерзавца и подлеца Гришки Распутина, который с неслыханным цинизмом дискредитировал идею русского самодержавия!

Сонный министр сразу встрепенулся:

— То есть, не пойму — как это... убили?

— А так... убили, и все тут.

— Простите, господа, а где же кадавр?

— Не волнуйтесь. Труп мы уничтожили.

— Садитесь,— сказал Макаров и тоже сел.

За окном кружился снежок, юстиция долго думала, потом Макаров (чиновная душа) велел писать на его имя докладную записку по всей форме со всеми «приличествующими» титулами.

— Не забудьте указать звание Распутина — крестьянин! — Прочтя докладную, он наложил на нее резолюцию об «отобрании подписки о невыезде. А. М.».— Теперь, господа, распишитесь... вот здесь!

Расписались. Бюрократическая волокита закончилась. Макаров, продолжая раздумывать, приподнял на столе толстое казенное сукно и сунул под него докладную записку об убийстве Распутина.

— Не стоит нам горячиться,— сказал он.— Я предоставляю вам время обдумать свое дальнейшее поведение...

Убийцы отвесили министру юстиции церемонные поклоны и удалились. Все отправились спать. Пуришкевич еще заехал на телеграф, отправив депешу на имя Н. А. Маклакова из двух слов: «Когда приезжаете?» (что означало: Распутин мертв!)

. . . . . .

Теперь подведем итоги этой волшебной «византийской» ночи. Распутин выжрал с вином и пирожными целых десять центиграммов цианистого калия, отчего у него «запершило» в горле; во время раута его как следует угостили пулями; на десерт неоднократно подали каучуковую грушу, которой можно свалить и быка. Но сердце конокрада продолжало стучать и под водой — в проруби... Великий князь Николай Михайлович отметил участие в убийстве Дмитрия

и Феликса такими словами: «Не могу еще разобраться в психике молодых людей. Безусловно, они — невропаты, какие-то вычурные эстеты, а все, что они совершили,— полумера, так как надо обязательно покончить со стервой императрицей...» За серией убийств и арестов к власти над страной должна была прийти военная генеральская хунта!

8. СЕМЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Утром 17 декабря филеры как ни в чем не бывало заняли свои посты — внизу лестницы дома № 64 по Гороховой улице. Им сказали, что Распутин дома не ночевал и его до сих пор нету.

— Велика беда! — отвечали филеры.— Проспится и вернется как миленький... первый раз, что ли? Знаем мы его, паршивца... У кого дама? Я сдаю. Нет, ты сдаешь... бита. Пики!

Катя Печеркина сказала дочкам Распутина:

— Батька-то ваш загулял, да как бы греха не было! Видела я ночью, как за ним Юсупов приходил... Уж такой он страшный, так они целовались... Не к добру!

Девицы стали названивать Муньке Головиной: мол, князь Юсупов забрал нашего папу, и папа до сих пор не пришел. Головина успокаивала их, говоря, что нет причин для тревоги:

— Они давно собирались вместе ехать к цыганам...

Ее обеспокоил следующий звонок — от самого Юсупова, который между прочим, как бы вскользь сказал Муньке:

— А мне ночью откуда-то звонил Григорий Ефимович... от цыган! Звал приезжать к нему. В телефоне были слышны музыка и визжание женщин. Но я не поехал — у меня были гости.

— Странно! А прислуга утверждает, что ты ночью был с черного хода и забрал Григория с собою.

— Чепуха какая-то,— ответил Феликс, вешая трубку.

Было 11 часов дня, когда Мунька явилась на Гороховую, где царили уныние и растерянность. Квартиру наполняли встревоженные дамы, говорившие шепотом. Крутился здесь и Симанович.

— Подозреваю недоброе,— сказал он Муньке.

— А ну вас! Не каркайте...

Чтобы не привлекать внимания гостей, она с Матреной сбегала до угла Гороховой, где размещалась фруктовая лавка с телефоном. Отсюда звонила к Юсупову, но из дворца сказали, что князя нет. Ровно в полдень Феликс позвонил сам — прямо на Гороховую, и Мунька говорила с ним по-английски. Теперь — жестко:

— Куда ты дел нашего Григория Ефимыча?

— А разве он еще не пришел? — отвечал Юсупов...

Мунька заплакала и ушла. Дочери Распутина через час приехали к ней на дом, где застали Муньку с матерью — рыдающих... В это же время Аарон Симанович уже проник к Протопопову, прося министра внутренних дел поднять на ноги всю полицию.

— Я же заклинал Распутина, чтобы все эти дни он не вылезал из дома, и Распутин обещал мне, что носа не высунет.

— Потому и ушел тайно,— подсказал Симанович...

В два часа дня рабочие, проходя через Б.-Петровский мост на Малой Невке, потрясли будку сторожа.

— Дрыхнешь, кукла чертова! — сказали они смотрителю Ф. К. Кузьмину.— А там все перила в кровище... видать, кого-то убивали ночью... Иди глянь! Проспишь царствие небесное...

Из показаний Ф. К. Кузьмина: «Я пошел с ними и увидел, что на панели и на брусу перил, а также на одном устое имеются кровяные пятна; кроме того, на льду лежала калоша темно-коричневого цвета...» С поста возле дома № 8 по Петровскому проспекту был вызван городовой В. Ф. Кордюков (бляха № 1876), который пришел и, осмотрев кровь на мосту, высморкался.

— Кого-то пришили... Ну-ка, братец, достань калошу!

О том, что Распутин дома не ночевал, в Царском Селе знали еще с утра, но не придали этому значения: так бывало не раз. Царицу напугал звонок Протопопова, который сообщил, что ночью в саду юсуповского дворца гремели чьи-то выстрелы.

— А что делает Феликс? — спросила императрица.

— Собрался ехать в Крым к жене.

— Задержите его, Калинин! — указала Алиса...

Нарушив законы империи, царица наложила арест на Феликса и на Дмитрия. Потом князь Юсупов был допрошен жандармским генералом Григорьевым, который, прибыв во дворец на Мойке, имел под локтем газетный сверток, словно собирался зайти в баню.

— Не воображайте себя Шерлоком Холмсом,— сказал генералу Феликс.— Я до сих пор не могу опомниться от того, что лишился в эту ночь своей лучшей собаки. Этот дурак...

— О каком дураке изволите говорить, князь?

— Да об этом его высочестве — о Митьке! Спьяна вылез на двор и открыл пальбу, застрелив собаку.

Григорьев плыл верными каналами — к истине:

— Позвольте, а как же тогда понимать слова Пуришкевича, сказанные им городовому Власюку об убийстве Распутина?

Юсупов был актер и отразил на лице недоумение.

— Боже меня упаси! — сказал он.— При чем здесь Распутин? Вот видите, как бывает: городовой не понял Пуришкевича, а мне грозят неприятности... Не надо было пить Пуришкевичу! Вы бы видели, как, измученный «сухим законом», он сосал мой коньяк...

Однако вот показания городового Власюка.

— Невероятно! — отвечал Юсупов, ознакомясь с протоколом допроса.— Я помню, что Пуришкевич спьяна что-то порол об убитой собаке и сожалел, что под пулю угодила собака, а не Распутин. Городовой — дурак, как ему и положено по уставу, а потому он перепутал собаку с Распутиным, но ошибка вполне допустима.

Григорьев развернул газетный сверток — в нем оказалась калоша-ботик мужского фасона № 10 фирмы «Треугольник».

— Этот предмет вам знаком? — спросил генерал.

Феликс сразу узнал бот с ноги Распутина.

— Завтра мне предстоит экзамен в Пажеском корпусе по тактике войн античной древности, а вы... суете мне галошу!

Генерал показал ему справку полицейского дознания, из коей следовало, что вышеозначенный бот № 10 уже предъявлен дочерям Распутина, ныне разыскиваемого полицией, и Симановичу,— все они признали бот за принадлежащий господину Г. Е. Распутину.

— Значит, это изделие «Треугольника» вам незнакомо?

— Простите, генерал, я знаком со многими принцами владетельных домов в Европе, но я не удосужился иметь честь быть представленным галошам с чужой ноги...

Впрочем, в Царском Селе еще надеялись, что старец, находясь под особым божьим милосердием, погибнуть не может. Карандашом императрица писала мужу: «Мы сидим все вместе — ты можешь себе представить наши чувства, мысли — наш Друг исчез. Вчера А. (то есть Вырубова) видела Его, и Он ей сказал, что Феликс просил Его приехать к нему ночью... Сегодня ночью огромный скандал в юсуповском доме — Дмитрий, Пуришкевич и т. д.— все пьяные. Полиция слышала выстрелы. Пуришкевич выбегал, крича полиции, что наш Друг убит...» Это письмо не было ею отправлено, а события получили мощный заряд энергии от звонка Протопопова:

— Убивали Феликс и Дмитрий... Ради бога, приютите в своем дворце страдалицу нашу Анну Александровну Вырубову! Убийцы имеют проскрипционные списки. Распутин был первым номером, Вырубова — вторым, а вы, ваше величество,— третья!

Вслед за этим в Ставку полетели телеграммы, чтобы царь срочно выезжал в столицу, где жить стало страшно. «Если наш Друг жив,— причитала Вырубова,— он где-то в тиши молится за нас!» Великий князь Дмитрий нахально позвонил императрице, прося у нее разрешения к пяти часам приехать на чашку чая. Алиса отказала ему — без комментариев. Потом звонил и Феликс, испрашивая позволения приехать для объяснений, но нарвался на Вырубову, которая сказала, что объяснения он может изложить письменно. А на улицах столицы творилось нечто невообразимое: узнав о гибели варнака, незнакомые люди обнимались и шли ставить свечки в Казанский собор — перед иконой св. Дмитрия (намек на убийцу Дмитрия Павловича!). В длинных очередях возле бакалейных лавок слышалось: «Дождался... Собаке — собачья смерть!»

. . . . . .

Я никогда не осмелюсь назвать убийство Распутина трагедией, но зато все дальнейшее напоминает мне забавный скетч...

Замышляя расправу, князь Юсупов сочинил нечто вроде благородного сценария в духе Оскара Уайльда,— Распутина хотели убрать «по-английски» (чисто, без шума и полиции — одним ядом). А получилась какая-то мерзкая бойня, и пришлось скоблить стены и полы от крови... Юсупов велел слугам сжечь свою пропитанную кровью одежду, только пожалел сапоги:

— Я их разносил. Очень удобно сидят на ноге...

Полиция нашла ту собаку, на которую ссылались убийцы. С пулей в голове несчастная дворняжка (Феликс почему-то счел за благо выдать ее за породистую), конечно, не могла дать такого изобилия крови. Но полиция еще не ставила вопроса об убийстве Распутина — речь шла пока об исчезновении Распутина!

Пуришкевич весь день крутился по своим делам, готовя санитарный поезд к отправке под Яссы, автомобили уже загрузили на платформы,— тут его перехватил капитан Сухотин.

— Вас просит его высочество Дмитрий Павлович...

Пуришкевич приехал во дворец на Невском, где кроме хозяина сидел и Юсупов с такими синяками под глазами, что страшно смотреть. Оба еще не ложились спать. Перед ними кипел турецкий кофейник, стояли початые бутылки с коньяками — они дружно пили то коньяк, то кофе... Пуришкевич присел рядом.

— Заваривается кутерьма по первому рангу,— сообщил ему великий князь.— Распутина выдать за собаку не удалось. Но самое неприятное, что подозрения падают на нас.

Пуришкевич задал не совсем умный вопрос:

— Интересно, кто же нас предал?

— Мунька Головина! — ответил Митя (тоже без ума).

— О-о, это такая гадина, доложу я вам,— добавил Феликс,— я бы даже на необитаемом острове с ней не общался... Сейчас сюда едет государь, который станет снимать самые жирные пенки с очень тощей простокваши. У меня хуже!

— Что же еще может быть хуже? — спросил Пуришкевич.

За Юсупова ответил Дмитрий Павлович:

— У него экзамены в Пажеском, но где же тут успеть подготовиться?

Пуришкевич заметил на столе черновик письма.

— Мое сочинение,— горько засмеялся Феликс.— Пишу здесь императрице, заклиная ее честью древнего рода Юсуповых, ведущих происхождение от брата Магомета, что я, их потомок, собаки не убивал... Приходится мобилизовать фантазию!

По тому, как он сморщил лицо, Пуришкевичу стало понятно, что князь врет в письме крепко — на потеху историкам.

. . . . . .

Бросив фронтовые дела, царь вернулся в Петроград, где жена предупредила его, чтобы он не сердился на нее:

— Я твоею волей велела кое-кого арестовать...

Документальный ответ царя таков:

— Мне стыдно перед православной Русью, что руки моих ближайших родственников обагрены мужицкою кровью...

Макаров покинул пост министра юстиции сразу же после убийства Распутина и, кажется, нарочно не дал ходу ночному заявлению убийц. Добровольский заместил его скорее не по надобности, а лишь по инерции, какую ему придал Распутин.

Царь спросил Добровольского об убийцах:

— Неужели в моем доме завелись декабристы?

На глупый вопрос последовал идиотский ответ:

— Не декабристы, а патриоты-милитаристы!

Попробуй догадайся, что они хотели этим сказать.

Премьер Трепов навестил экс-премьера Коковцева.

— Вы не поверите, Владимир Николаевич, но я ничего не знаю, что там стряслось с этим... Распутиным! Императрица поручила следствие Степану Белецкому, и для нее нет сейчас человека ближе и роднее. Она сама говорит: «Степан — единственный, кому я верю, все остальные жулики». А я извещен достаточно, что Белецкий кокаину нанюхается, и его... несет!

— Как выглядит государь по возвращении из Ставки?

— Ужасен! — охотно отвечал Трепов.— Под глазами мешки, словно неделю из кабака не выходил, щеки ввалились, голос тихий, а глаза недобрые, как у собаки, которую много бьют и мало кормят... Открыто обещает завинтить все гайки до упора!

— А что наша императрица?

— Замкнута. Собранна. Холодна. Сдержанна.

— Распутина-то нашли хоть?

— Я же вам говорю, что не извещен. Я премьер, а не могу знать. Кто его поймет... Может, как у Чехова в рассказе «Шведская спичка», пока мы тут крутимся, он напился до синевы и сейчас отсыпается у какой-нибудь стервы... Ищут, ищут, ищут!

— А вот слухи, будто бы Юсупов и Дмитрий...

— Да что вы! — перебил Трепов.— Сливки нашего общества, голубая кровь и белая кость, не унизят себя до убийства.

— Как знать,— хмыкнул Коковцев...

Вскоре царь приказал Трепову добиться от Юсупова признания и выдать всех убийц. Феликс был доставлен к премьеру под вооруженным конвоем, как преступник. Трепов извинился перед князем за эту строгую меру и сказал, что вынужден исполнить высочайшее повеление... Феликс спросил его:

— Следовательно, все, что я скажу, будет известно государю?

— Да, черт побери, да! — выкрикнул Трепов.

Юсупов понял, что грубиян находится сейчас в таком гиблом настроении, когда готов воспринять любую истину. Феликс начал свою речь, словно заплетал хитроумные кружева:

— Вы, конечно, понимаете, что я не сознаюсь в убийстве Распутина. Но если даже допустить, что убил я и я же выдам своих сообщников, то... не воображайте, что я вам сознался! Передайте моему государю,—закручивал Феликс, до предела напрягая скудный разум Трепова,— что убившие Распутина действовали не потому, чтобы испортить ему настроение, а в его же интересах. Пусть он поймет: катастрофа неизбежна, если самым радикальным образом не изменить весь образ правления государством!

Словесная казуистика Юсупова работала сейчас и на царя и против царя. Трепов понял князя правильно.

— Я поставлю к вашему дому караул с оружием,— сказал он.— Это необходимо, ибо возможно покушение лично на вас.

— Но у меня уже стоит караул,— ответил Феликс.

— Это от царицы, и он может убить вас. А теперь — от меня, который будет охранять вас от караула нашей государыни...

Подобным признанием Трепов обнаружил свою оппозицию к Царскому Селу; молодой князь глянул на часы.

— Пусть караул отведет меня для сдачи экзаменов...

Феликс получил высший аттестационный балл. Синяки вокруг его глаз еще больше увеличились, но, паля свечку с двух концов, он после сдачи экзамена не лег спать. Нет! Он вечером еще устроил концерт с исполнением цыганских романсов под гитару. Дамы осыпали солиста цветами, а мужчины качали, как триумфатора, который еще вчера убивал Распутина, а сегодня сдал экзамен — без подготовки, и дал концерт — без репетиций... Вот пойми ж ты этого человека!

Наконец в два часа ночи великого князя Дмитрия посадили на поезд и отправили в Персию, а князь Феликс ссылался в село Ракитино Курской губернии, «которое (вспоминал он) должно было служить местом моего заключения. Мой поезд уходил в двенадцать ночи... Охрана получила приказ от Протопопова держать меня в полной изоляции. Вокзал охранялся сильным отрядом полиции, и публика не была допущена на платформу. Раздался третий звонок, паровоз резко засвистел, в зимней мгле исчезла дорогая столица... Поезд совершал свой одинокий путь по дремлющим полям».

. . . . . .

Великий князь Павел Александрович (отец Дмитрия) и великий князь Александр Михайлович (отец Ирины Юсуповой) навестили царя и спросили, на каком основании его жена, не имея на то юридических прав, арестовала Дмитрия и Феликса. Николай II, выручая Алису, стал нагло врать, что это был его личный приказ.

— Вот телефон,— показали ему родственники,— позвони же в полицию, и пусть они снимут арест.

— Дядя Паша, и ты, дядя Сандро,— отвечал царь с оглядкой на двери,— но что же тогда скажет Аликс? И как я вообще смогу объяснить ей, о чем мы в данный момент разговаривали?

— Скажи, что мы говорили об успехах русской авиации. В самом деле, летающие дредноуты Сикорского — самая модная тема.

— Она не поверит. До авиации ли нам сейчас!..

Романовы собрались вместе — сочиняли протест против преследования убийц Распутина; под протестом подписались семнадцать человек, и первой стояла подпись греческой королевы Ольги (родной тетки Николая II и бабушки великого князя Дмитрия). Прочтя это письмо, императрица была крайне возмущена:

— Ники, это же... революция в доме Романовых!

Николай II наложил на протест резолюцию: «*УБИВАТЬ НИКОМУ НЕ ДАНО ПРАВО*». Это случилось, когда распоряжение о ссылке Дмитрия и Юсупова уже состоялось. Великий князь Павел Александрович пришел к царю-племяннику — о милости для своего сына Дмитрия.

— Убивать никому не дано право! — повторил царь.

Эти слова в устах обагренного кровью царя прозвучали столь цинично, что Павел Александрович не выдержал.

— Да,— закричал он, разрыдавшись,— убивать ни-

кому не дано право, кроме тебя, помазанника божия, который тысячами подмахивал смертные приговоры между выпивкой и игрой на бильярде! Кто бы другой говорил об этом, но тебе лучше молчать!

В конце декабря историк Николай Михайлович посетил Яхт-клуб на Морской улице, самый аристократический и чопорный клуб столицы, где засел за партию в безик. Язык у царственного историка был совсем без костей, и он молотил вполне свободно:

— Первого января, как и заведено, все Романовы по традиции должны собраться в Зимнем дворце, где происходит акт целования руки императрицы. Меня там не будет в году семнадцатом! Пусть ручки этой стервы целуют рубинштейны и протопоповы...

Партнером его за игрой был любовник царицы — Саблин; через день историка вызвал министр двора граф Фредерикс:

— Передаю вам волю его величества. Если вам, как говорите, стало противно целовать руку ея императорского величества, то вам в столице более нечего делать... Возвращайтесь домой и ждите фельдъегеря с приказом ехать в ссылку.

— На какой же срок меня ссылают?

— На два месяца. Исторически — пустяк.

— Я вернусь в столицу раньше,— отвечал Н. М. Романов,— ибо и двух месяцев не пройдет, как престол, пардон, кувырнется.

— Откуда у вас такая уверенность?

— Из опыта истории, граф. Вам этого не понять...

В вагоне поезда он встретил думского Шульгина и Терещенко, элегантного миллионера.

— Скоро все лопнет,— сказал Шульгин.

— Цареубийство неотвратимо,— добавил Терещенко.

— Но я люблю этого сукина сына... царя! — воскликнул историк, отправленный царем в ссылку.— Очевидно, люблю только по рикошету за то, что у него умная и хорошая мать...

В Киеве он повидался с нею. Гневная сказала:

— Глупцы! Начали хорошо, а потом бросили. Надо докончить истребление всех, кто окружает моего сына. Я не умру спокойно, пока не увижу Ники в разводе с этой гессенской психопаткой, место которой в келье... в темнице... за решеткой!

...После революции Николай Михайлович, уже с красным бантом поверх сюртука, первым делом посетил тот погреб в юсуповском дворце, где убивали Распутина; он никак не ожидал встретить здесь молодых супругов Юсуповых — Ирину и Феликса, которые как ни в чем не бывало обедали средь антуража, еще хранившего следы плохо замытой крови.

— Феликс, а тебе никогда не снится Распутин?

— Нет,— ответил князь.

Они обедали с прекрасным молодым аппетитом, и оба были красивые энергичные люди, вполне довольные своей жизнью.

9. ТРУПНОЕ ДЕЛО

Мы забыли про Курлова! А он сказал Белецкому:

— Не так пляшешь, Степан: танцевать нужно от Малой Невки, а ты уперся во дворец Юсуповых.

Мостовой сторож в ночь на 17 декабря дрых в будке как суслик, и Курлов дал ему по зубам, чтобы впредь по ночам не спал, а неустрашимо бодрствовал. Искать свидетелей негде. Возле Б.-Петровского моста — Старый Петровский дворец, напротив — дворец князей Белосельских-Белозерских, куда с наганом тоже не сунешься... Выручил случай! Неподалеку находилось убежище для престарелых служителей русской сцены, и ветеран муз, некто Струйский, издавна страдавший бессонницей, в ночь на 17 декабря сидел возле окна, бесцельно глядя на мост, и видел, как неизвестные сбросили с моста большой узел. Курлов нагрянул в дом ветеранов сцены со сворой прокуроров, сыщиков и жандармов; из несчастного свидетеля вытрясли душу, и он вспомнил все, вплоть до того, с какой стороны светила тогда луна... Наблюдения старого актера в сочетании с кровью на перилах моста подсказали Курлову, что делать дальше. Утром въезд и выезд моста перетянули веревками, нагнали массу городовых с пешнями, речная полиция с помощью невских рыбаков забрасывала в полыньи под мостом невод, приносивший наверх свежую корюшку, но зацепить сетью Распутина не могли. Тогда под воду ушли флотские водолазы, которые долго ползали по грунту, потом сказали:

— Ежели здеся кого и утопили, так течение — не приведи бог, его прямо в море будто щепку вынесло...

Разломать лед от стрелки Васильевского острова до самого Кронштадта царь не решился (хотя слухи об этом ходили). Распутина нашли случайно и даже не там, где искали. Один городовой, отойдя в сторону от моста саженей на тридцать, заметил торчащий из-под снега мех; потянул — рукав шубы. Здесь же, возле шубы, нашли и Распутина, которого из проруби течением подогнало под лед, в толщу этого льда он и врос — намертво! Курлов велел вырубать его изо льда — одной глыбой, внутри которой он виднелся, словно доисторическая муха, застывшая в куске древнего янтаря. Потом эту глыбу льда городовые аккуратно обкалывали со всех сторон, словно скульпторы, приступающие к первичной обработке камня. В присутствии полицейского врача Тувима убитого освободили от штофных занавесей, в которые он был завернут.

Распутин был страшен... Помимо множества ран на теле череп его был разрушен гирей, один глаз вытек, нос всмятку, борода примерзла к груди. К тому же он так закоченел, что буквально позванивал на морозе как стекляшка. Между тем слух об этой находке уже распространился средь его поклонниц, к берегу Малой Невки стали спускаться дамы с кувшинами и бутылками, чтобы зачерпнуть воды, которая, обмыв в себе Распутина, сделалась «освященной»... Возле моста собралась масса карет и автомобилей столичной знати, которую даже близко не подпускали. Курлов допустил к Распутину лишь полицейских фоторепортеров, которые нащелкали с трупа множество снимков (сначала в одежде,

потом голого). Курлов из рядов оцепления отобрал четырех солдат с оружием, которым — наедине — строжайше внушил:

— Если проболтаетесь о том, что увидите, пусть даже родной матери, пусть даже начальству, все четверо будете преданы военно-полевому суду... Расстрел! — заключил он, с подозрением поглядывая на одного из солдат, и верный глаз жандарма не обманул Курлова (это был доброволец из студентов по фамилии Пирамидов, который позже и рассказал многие подробности)...

Обо всем происходящем возле моста Курлов телефонировал в Царское Село, а действовал лишь по указаниям императрицы. Сейчас он медлил, явно затягивая время. Только с наступлением сумерек подали грузовик, в кузов запихнули два узла — один с Распутиным и его вещами, в другом была куча задубенелых от мороза тулупов, присланных из Царского Села для отогревания. Курлов переоделся в шинель солдата, взял в руки винтовку, а шоферу указал запутанный маршрут, дабы избежать проезда по многолюдным улицам. Было совсем уже темно, когда грузовик тронулся, а куда ехали — никто не знал.

Они прибыли на зловещее и унылое место в пяти верстах от столицы по дороге на Царское Село; здесь высился Чесменский дворец (при Екатерине II назывался «Кекерекексинен», что в переводе с чухонского означает «Лягушачье болото», и лягушка фигурировала здесь в разных видах, украшая даже тарелки и туфли императрицы); теперь в этом замке размещалась богадельня для старых инвалидов... Грузовик остановился напротив часовни; на столе в покойницкой лежал старец инвалид с медалью «За сидение на Шипке»; Курлов смахнул его со стола, и велел:

— Тащи сюда нашего праведника... клади!

По распоряжению МВД печи в часовне были заранее прожарены — для оттаивания трупа. Распутину распрямили ноги, развели в стороны скрюченные руки. Неожиданно Протопопов вызвал Курлова к телефону и сказал, что в Царском Селе решительно протестуют против анатомического вскрытия.

— Сашка,— отвечал Курлов,— если в Царском дуры, так не будь и ты идиотом. Вскрытие необходимо для ведения судебного следствия, так и передай всем!

Дочери покойного ломились в часовню снаружи.

— Пустите нас! Нам бы папочку поглядеть.

— Гнать в три шеи,— распорядился Курлов.

— Мы ему белье привезли,— неслось из-за двери.

— Белье пускай просунут, а сами не входят...

Вскрытие производил профессор судебной медицины Д. П. Косоротов, ассистировал ему полицейский врач Трант. Столичные жители твердо верили, что Распутин был спущен под лед *еще живым*. А люди религиозные придавали этому факту громадное значение, ибо — по русскому поверью — утопленник не может быть причислен к лику святых русской церкви. Императрица же потому и не хотела патологоанатомического вскрытия, чтобы анализ медиков не мешал ей в скором будущем канонизировать Распутина в «святости». Таким образом, от вскрытия зависело очень многое. Но под ножом хирурга из легких Распутина брызнула невская вода.

— Все ясно,— сказал профессор Косоротов.— Он еще под водой продолжал дышать, а это значит — *святым ему не бывать*.

— Сколько он мог жить под водой? — спросил Трант.

— Судя по сердцу, минут около семи...

Это сердце, стучавшее под водой, было вложено в серебряный сосуд, за которым из Царского Села примчалась машина придворного гаража. После вскрытия начался процесс обмывания и одевания, причем нижнее белье взяли от семьи, а верхнее прислали от царицы. «Всем церемониалом заведовала прибывшая из Царского Села дама в костюме сестры милосердия — высокая, полная шатенка лет сорока...» Кто это был — я не знаю. Но эта дама наполнила раны Распутина драгоценными благовониями, умаслила его волосы, зашпаклевала страшные кровоподтеки на лице. Распутин был облачен в парчовую рубаху из тканого серебра, черные вельветовые брюки и носки. Только потом в часовню были допущены дочери Распутина, которых сопровождала высокая худощавая дама в глубоком трауре и под плотной вуалью, полностью скрывавшей черты лица... Это была сама императрица, которая, уходя, вложила в пальцы Гришки Распутина свое последнее к нему письмо:

«Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтобы оно постоянно было со мной на скорбном пути, который остается мне пройти здесь на земле. И помяни нас на небесах в твоих святых молитвах.

Александра».

После этого из часовни всех удалили, а Курлов дал солдатам по два рубля и еще раз пригрозил, что перестреляет всех четырех, если они станут болтать... Начиналось тайное дело Романовых! Гришку уложили в свинцовый гроб со стеклянным иллюминатором напротив его лица, этот гроб завинтили на шурупы и вложили в другой гроб — деревянный. Теперь все кончено! Не выпьет, страдалец наш, два кухонных таза с елисеевской мадерой. Не закусит, мученик наш, мадеру селедочкой. Не скрипеть ему, соколику, по Руси своими блестящими сапогами...

С моря летели синие вьюги.

Гроб поставили в кузов грузовика. Была уже ночь, мороз лютовал страшный, и Курлов этой неизвестной даме («шатенке лет сорока») предложил место в кабине подле шофера. Но в ответ она истерически разрыдалась:

— Нет, нет, только с ним! До гробовой доски...

Солдаты впихнули ее в кузов, в глубоком религиозном экстазе она распласталась поверх гроба с Распутиным, обнимая и целуя шершавые заледенелые доски. Машина дернула — понеслись...

Никто больше не знал, куда делся Распутин.

Протопопов широко оповещал печать и столицу, что гроб с телом Распутина отправлен железной дорогой на родину — в село Покровское, где и погребен согласно обрядам церкви.

На самом же деле Распутин лежал в Федоровском государственном соборе, что смыкался с большим Александровским дворцом царской резиденции. Здесь служили панихиды по «невинно убиенному», здесь чадили пудовые свечи, а клубы росного ладана волнами утекали под купол храма. Никто из посторонних в собор не допускался, а возле открытого гроба кликушествовали царица и Вырубова, Мунька Головина и прочие. Должность Распутина оставалась вакантной, и Пуришкевич был трижды прав, когда говорил, что это дело прибыльное, а свято место пусто не бывает! На освободившийся пост уже карабкался Протопопов; министр прилагал бешеные усилия, чтобы заменить Распутина, и всюду открыто вещал, что старец, покидая сей грешный мир, вселил в него, Протопопова, свой бессмертный дух. Мало того, министр внутренних дел перенял даже внешние повадки Распутина, начал понемножку хамить и даже пророчествовал, внушая царям, что, пока он, Протопопов, жив, с династией Романовых ничего не случится; Протопопов названивал в Царское по утрам к императрице — как раз в то время, в какое она привыкла беседовать с Распутиным...

Алиса замышляла похоронить Распутина в соборной ограде, но помешали офицеры царскосельского гарнизона, которые, пронюхав об этом, честно заявили лично Николаю II:

— Ваше величество, вы знаете, как мы преданы вам. Но если Распутин еще будет валяться в Федоровском соборе, где молимся мы и наши семьи, мы все уходим на фронт...

Противу канонов православия ночью (!) долгогривый Питирим отслужил над Гришкой обедню, причем с Протопоповым случился нервный припадок, он ползал на коленях и кричал, как хлыст:

— Чую! Чую! Дух и сила Распутина вошли в меня...

Дух — может быть, но сила — вряд ли!

Распутин был погребен на пустынном участке, принадлежавшем Вырубовой, которая закладывала здесь часовню и уже свозила сюда доски, кирпичи и бочки с известью. Это место, безлюдное и мрачное, называлось тогда «убежищем Серафима»,— оно находилось на самой опушке парка, где к окраинам Царского Села примыкает платформа станции Александровская Варшавской железной дороги. Редко здесь встретишь человека, только торчат, уставившись в небо, длинные стволы пушек зенитной батареи...

Хоронили в три часа ночи — в самое воровское время!

Тяжеленный гроб тащили на себе Николай II и лишь самые близкие из его свиты, а наследник престола, плача от холода и страха, придерживал черный флер, спадающий с гроба. За гробом, как две неразлучные тени, шли, качаясь от горя, императрица и Вырубова — овдовевшие... Алиса, часто вскрикивая, прижимала к себе окровавленную рубаху Гришки, в которой его травили, били и добивали, как собаку, в юсуповском дворце на Мойке, а Вырубова, голося что-то божественное, несла икону и пучок нежных мимоз, выращенных в теплицах. Во мраке ночи, с треском коптя, чадили смоляные факелы... В этой тайной мистерии не хватало только запаха дьявольской серы.

С тех пор и повелось. По узенькой тропочке, пробитой в снегу, каждодневно императрица с Вырубовой ходили на склад строительных материалов, и солдаты-зенитчики, топая от холода промерзлыми валенками, не могли взять в толк, какого беса ради они ревут там, средь стропил и балок между кирпичей и досок.

10. РАСПУТИН ЖИВ!

Побирушка настойчиво названивал Белецкому:

— Степан Петрович, зайдите ко мне... по делу!

Белецкий ссылался на острую нехватку времени, но князь Андронников был навязчив, как балаганный зазывала:

— Ну, только на минуточку! Есть нечто важное...

Белецкий навестил Побирушку в его пустынной квартире; здесь же был и Бадмаев в хорошем европейском костюме (ни слова не проронил, только улыбался; они сидели за круглым столом под розовым абажуром, мертвая тишина наполняла неуютные комнаты... Побирушка болтал разную ерунду, и было ясно, что никакого важного сообщения у него нет. «Зачем же он так настойчиво звал?..»

Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта.

Белецкий услышал там тихий шорох. Скрипнули сапоги.

На фоне двери стоял... Распутин.

Да, Григорий Ефимович Распутин, живой и теплый. Сомнений быть не могло. Борода, одежда, поза — все как у настоящего Гришки, и Белецкому стало жутко под его свирепым и темным взором, который из глубин соседней комнаты он обращал к нему. Побирушка при этом болтал по-прежнему, но искоса наблюдал за тем впечатлением, какое произвел на жандарма этот живой и невредимый Распутин, снова заскрипевший сапогами...

Белецкий понял, что где-то в романовском подполье уже заранее был запасен двойник Распутина, чтобы крутить распутинщину и дальше. Новый Распутин еще постоял напротив двери, потом кашлянул неловко и тихо удалился куда-то... Белецкий сказал:

— Спасибо за беседу. Мне надо трогаться.

— Вы разве ничего не заметили? — спросил Побирушка.

— А что я должен был заметить?

— Да нет,— смутился Побирушка,— это я так...

Бадмаев ласково улыбался масленой рожей.

История с дохлыми кошками казалась дивным сном невозвратного и сладкого былого, а теперь — не то. Совсем не то...

Скучно жить, черт побери, без Распутина!

«Где ты, Ефимыч?»

«Ау-у... здеся. А ты где?»

До самого февраля Распутин еще бродил по городу. И он исчез, когда столицу заполнила зовущая к оружию «Марсельеза».

11. ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Было очень холодно, на перекрестках полыхали костры. Толпы студентов и прапорщиков распевали «Марсельезу», а голодные в очередях кричали: «Хлеба!..» Если хочешь иметь хлеб, возьми ведро, пробей гвоздем в днище его дырки, насыпь горячих углей и с этим ведром ступай вечерком стоять в очереди. Ты, голубь, на ведро сядь, и снизу тебя, драгоценного, будет припекать. Так пройдет ночь, так наступит утро. Если хлеб подвезут, ты его получишь... «Хвосты» превращались в митинги. Изысканный нюх жандармов точно установил, что выкрики голодных женщин идейно смыкаются с призывами большевистских прокламаций. Костры горели, а громадные сугробы снега никем не убирались.

Родзянко с трудом умолил государя об аудиенции. Получил ее. Жена Родзянки, со слов мужа, описала царя: «Резкий, вызывающий тон, вид решительный, бодрый и злые, блестящие глаза...» Во время доклада председатель Думы был прерван возгласом:

— Нельзя ли короче? Меня ждут пить чай. А все, что следует мне знать, я уже давно знаю. Кстати, знаю лучше вас!

Родзянко с достоинством поклонился.

— Ваше величество, меня гнетет предчувствие, что эта аудиенция была моей *последней* аудиенцией перед вами...

Николай II ничего не ответил и отправился пить чай. Родзянко, оскорбленный, собирал свои бумаги. Доклад вышел скомканный. На листы его доношений капнула сердитая старческая слеза...

А рабочие-путиловцы с трудом добились аудиенции у Керенского. Они предупредили его, что Путиловский бастует и забастовка их может стать основой для потрясений страны. Потрясения будут грандиозны, ни с чем ранее не сравнимы... Керенский их не понял, а ведь они оказались пророками!

23 февраля работницы вышли из цехов, и заводы остановились. «На улицу! Верните мужей из окопов! Долой войну! Долой царя!» К женщинам примкнули и мужчины... Керенский выступал в Думе.

— Масса — стихия, разум ее затемнен желанием погрызть корку черного хлеба. Массой движет острая ненависть ко всему, что мешает ей насытиться... Пришло время бороться, дабы безумие голодных масс не погубило наше государство!

К рабочим колоннам присоединились студенты, офицерство, интеллигенция, мелкие чиновники. Городовых стали разоружать. Их били, и они стали бояться носить свою форму. Вечером 25 февраля, когда на улицах уже постреливали, ярко горели огни Александрийского театра: шла премьера лермонтовского «Маскарада». В последнем акте зловеще прозвучала панихида по Нине, отравленной Арбениным. Через всю сцену прошла белая согбенная фигура. Публика в театре не догадывалась, что призрак Нины, уходящей за кулисы, словно призрак смерти, предвещал конец *всему*.

. . . . . .

Родзянко встретился с новым премьером — Голицыным:

— Пусть императрица скроется в Ливадию, а вы уйдите в отставку... Уйдите все министры! Обновление кабинета оздоровит движение. Мы с вами живем на ножах. Нельзя же так дальше..

— А знаете, что в этой папке? — спросил Голицын.

В папке премьера лежал указ царя о роспуске Думы, подписанный заранее, и князь в любой момент мог пустить его в дело. Думу закрыли. По залам Таврического дворца метался Керенский.

— Нужен блок. Ответственный блок с диктатором!

— И... пулеметы,— дополнил Шульгин.— Довольно терпеть кавказских обезьян и жидовских вундеркиндов, агитирующих за поражение русской армии... Без стрельбы не обойтись!

Дума решила не «распускаться». Но боялись нарушить и указ о роспуске — зал заседаний был пуст, Керенский неистовствовал:

— Умрем на посту! Дать звонок к заседанию...

Кнопку звонка боялись нажать. Керенский сам нажал:

— Господа, всем в зал. Будьте же римлянами!

— Я не желаю бунтовать на старости лет,— говорил Родзянко.— Я не делал революции и не хочу делать. А если она сделалась сама, так это потому, что раньше не слушались Думы... Мне оборвали телефон, в кабинет лезут типы, которых я не знаю, и спрашивают, что им делать. А я спрашиваю себя: можно ли оставлять Россию без правительства? Тогда наступит конец и России...

В этот день Николай II, будучи в Ставке, записал в дневнике: «Читал франц. книгу о завоевании Галлии Цезарем... обедал... заехал в монастырь, приложился к иконе Божией Матери. Сделал прогулку по шоссе, вечером поиграл в домино». Ближе к событиям была императрица, она сообщала мужу: «Это — хулиганское движение; мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба. Если бы погода была еще холоднее, они все, вероятно, сидели бы по домам». Она снова пошла на могилу Распутина! «Все будет хорошо, солнце светит так ярко, и я ощутила такое спокойствие и мир на ЕГО дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас...»

Наконец до Николая II дошли слухи о волнениях в столице. Он распорядился: *«Дать хлеба!»* И власть схватилась за голову:

— Какой хлеб? О чем он болтает? Рабочие *хлеба уже не просят*. На лозунгах написано теперь другое: «Долой самодержавие!»

Сообщили царю, и он ответил — а тогда надо стрелять...

. . . . . .

Адмиралтейство установило на башне флотский прожектор, который, словно в морском сражении, просвечивал Невский во всю его глубину — до Знаменской площади, и в самом конце луча рельефно выступал массивный всадник на битюге. Подбоченясь, похожий на городового, сидел там Александр III и смотрел на дела рук сына своего... Звучали рожки — сигналы к залпам, и солдаты стреляли куда попало. Рикошетом, отскакивая от стен, пули ранили и убивали. Мертвецкие наполнялись трупами. Иногда офицеры выхватывали винтовки у солдат — сами палили в народ.

— Кто хочет жить — ложись! — предупреждали они...

Родзянко советовал поливать публику из брандспойтов.

— В такой мороз, мокрые-то, не выдержат, разбегутся.

Царь не отвечал на его телеграммы. Войска отказывались исполнять приказы. Власть в стране забирала Государственная дума, и к Таврическому валили толпами — рабочие, солдаты. Шульгин писал: *«Умереть? Пусть. Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда... Ах, пулеметов сюда, пулеметов!»*

Родзянко хрястнул о стол мясистым кулаком.

— Хорошо! — решился.— Я беру на себя всю полноту власти, но требую абсолютного подчинения. Александр Федорович,— погрозил он пальцем Керенскому,— это в первую очередь относится к вам. Вы у нас в Думе всегда были склонны играть роль примадонны!

До царя наконец дошло, что в Петрограде не мальчишки с девчонками бегают по улицам и не хлеба они там просят. Сейчас за ним, за царем, остался только отрядик, засевший в Адмиралтействе: сидит там и посвечивает... Ставка не ведала истины до конца: генералы рассуждали о каких-то «безобразниках», а правительство жаловалось генералам на удушение власти от «революционеров». Наконец на сторону народа перешел и гарнизон Петропавловской крепости! Но это еще не все... Николаю II пришлось испить чашу отчаяния до последней капли.

— Ваше величество,— доложили ему,— старая лейб-гвардия... Невозможно выговорить, но это так: Преображенский полк примкнул к восставшему гарнизону столицы и, простите, порвал с вами!

— Как? И... офицеры?

— Ваше величество, мужайтесь — и офицеры тоже.

— Кто же там остался мне верен?

— Один лишь флотский гвардейский экипаж, посланный нами в Царское Село для охраны вашего семейства...

Но к Таврическому дворцу уже подходил гвардейский экипаж, который вел великий князь Кирилл — двоюродный брат императора, и на шинели его высочества колыхался красный бант. Великий князь доложил Родзянке, что экипаж переходит целиком на сторону восставших, и Родзянко невольно содрогнулся.

— Снимите бант! Вашему высочеству он не к лицу...

Слепящий глаз прожектора на башне Адмиралтейства погас, и канул во мрак истукан царя-миротворца, до конца досмотревшего всю бесплодную тщету своего бездарного сына...

28 февраля, в 5 часов утра, еще затемно, от перрона могилевского вокзала отошел блиндированный салон-вагон — император тронулся в столицу. В городах и на станциях к «литерному» выходили губернаторы с рапортами, выстраивались жандармы и городовые. Колеса вертелись, пока не подъехали к столице. Здесь график движения сразу сломался. Все так же безмятежно струились в заснеженную даль масленистые рельсы, но... Революция затворила стрелки перед «литерным», и царь велел повернуть на Псков.

В 8 часов вечера 1 марта 1917 года царский вагон загнали в тупик псковского узла. Сыпал мягкий хороший снежок. Император вышел из вагона глянуть на мир божий. Он был одет в черкеску 6-го Кубанского полка, в черной папахе с пурпурным башлыком на плечах, на поясе болтался длинный грузинский кинжал...

Он еще не знал, что его решили спасать!

Спасать хотели не лично его, а монархию!

К спасению вызвались Гучков и Шульгин.

Вопрос в паровозе. Где взять паровоз?

— Украдите,— посоветовал находчивый Родзянко...

Воровать паровоз, чтобы потом мучиться в угольном тендере, не пришлось. Ехали в обычном вагоне. Шульгин терзался:

— Я небритый, в пиджаке, галстук смялся. Ах, какая ужасная задача перед нами: спасать монархию через отречение монарха!

Ярко освещенный поезд царя и темный Псков — все казалось призрачным и неестественным, когда они прыгали через рельсы. Гостиная царского вагона была изнутри обита зеленым шелком. Император вышел к ним в той же черкеске. Жестом пригласил сесть. Гучков заговорил. При этом закрылся ладонью от света. Но у многих создалось впечатление, что он стыдится. Он говорил о революции... «Нас раздавит Петроград, а не Россия!» Слова Гучкова горохом отскакивали от зеленых стенок. Николай II встал.

— Сначала,— ответил он спокойно,— я думал отречься от престола в пользу моего сына Алексиса. Но теперь переменил решение в пользу брата Миши... Надеюсь, вы поймете чувства отца?

(«И мальчики кровавые в глазах...»)

Гучков передал царю набросок акта отречения.

— Это наш брульон,— сказал он.

Николай II вышел. Фредерикс спросил думцев:

— Правда, что мой дом в столице подожжен?

— Да, граф. Он горит уже какой день...

Возвратился в гостиную вагона Николай Последний.

— Вот мой текст...

Отречение было уже переписано на штабной машинке:

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание...»

Далее он отрекался. Часы показывали близкую полночь.

Акты государственной важности всегда подписываются чернилами. Николай II подписал акт отречения не чернилами, а карандашом, будто это был список грязного белья, сдаваемого в стирку.

. . . . . .

Вернулись в Петроград рано утром. Гучкова сразу же отодрали от Шульгина, увели под локотки — ради речеговорения.

Шульгина тоже поволокли с перрона.

— Войска построены. Скажите им... скажите!

Помещение билетных касс Варшавского вокзала

стало первой аудиторией, где русский народ услышал об отречении императора. Войска стояли в каре «покоем», а не заполненное ими пространство забила толпа. Изнутри каре Шульгин вырыдывал из себя:

— ...он, отрекаясь, подал всем нам пример... богатые и бедные, единяйтесь... спасать Русь... о ней думать... война... раздавит нас... один путь — вместе... сплотимся... вокруг нового царя... царя Михаила... и Натальи... Урра-а!

Его выхватили из толпы, потащили к телефону.

— Милюков! Милюков вас... срочно.

В трубке перекатывался профессорский басок:

— Все изменилось. Не объявляйте отречения.

— А я уже. Я здесь — всем, всем, всем.

— Кому, черт побери?

— На вокзале. Войска... народ. Я им — про Михаила!

— Пока вы ездили в Псков, здесь закипела буря. Предупредите Гучкова, чтобы не болтал глупостей. И с вокзала срочно поезжайте на Миллионную, дом номер двенадцать. Квартира князя Путятина...

День был солнечный. Магазины закрыты. Никто не ходил по панелям, толпы валили посередине улиц. Половина людей была вооружена. Многотысячный гарнизон растворился в этой толпе, празднующей свободу. Два «архангела» из охраны Гучкова и Шульгина лежали животами на крыльях автомобиля. Выдвинутые вперед штыки пронзали воздух — ожесточенно.

— Не выколите глаза людям,— кричал Шульгин из кабины...

Миллионная, 12,— особняк князя Путятина, где затаился от толпы новый император. Здесь же собрались и партийные заправилы. Милюков не говорил, а словно каркал, накликая беду:

— Не откажите! Если не вы, то Россия... пропадет... такая история... бурная, великая... кошкам под хвост! Что ждет нас без царя? Кровавое месиво... анархия... жидовщина и хаос...

Мишка покорно слушал. Терещенко шептал Шульгину:

— Хоть стреляйся... что делать? Рядом со мной Керенский, он весь дрожит... колотит. Боится — надежных частей нет...

Керенский обрушил на Михаила лавину слов:

— Я против монархии, я республиканец. Как русский русскому скажу правду. Недовольство народа монархией... нас ожидает война гражданская... как русский русскому... если нужна жертва... примите ее... в любом случае за вашу жизнь я не ручаюсь!

Михаил подумал и отрекся, оставив престол бесхозным. 304 года начались на Руси Михаилом — Михаилом все и закончилось...

За ученической партой, в классной комнате дочерей Путятина, писали акт об отречении: «Мы, Божией милостью Михаил, Император и Самодержец Всероссийский...» Возмутился сам Мишка:

— Что вы тут городите? Я же еще и не царствовал...

Растерянные, блуждали среди парт. Спотыкались о разбросанные детские игрушки. Шульгин говорил страдальчески:

— Как жалобно зазвенел трехсотлетний металл драгоценной короны, когда его ударили о грязную булыжную мостовую...

От Невы горело закатом. По Миллионной, заворачивая в Мошков переулок, прошла рота матросов, горланивших:

Ешь ананасы, рябчиков жуй —
День твой последний приходит, буржуй!

Слова незнакомые. Таких песен раньше не слышали. Расходясь, все молились:

— Да поможет господь бог нашей России...

Династия Романовых-Кошкиных-Захарьиных-Голштейн-Готторпских, правившая на Руси с 1613 года, закончила свой бег по русской истории — навсегда...

. . . . . .

Революция возникла 23 февраля по старому стилю, или 8 марта по новому. Это был Международный женский день, и начали революцию женщины,— не будем об этом забывать!

Эту последнюю главу романа я и посвятил женщинам.

Женщинам — чистым и умным.

Женщинам — любящим и любимым.

ФИНАЛ ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ

Едва загремела февральская «Марсельеза», Протопопов вызвал петроградского градоначальника Балка и омерзительно целовал того в посинелые уста.

— Нужны пулеметы... на крышах! И передайте городовым,— наказал министр,— что,если будут стрелять в народ решительно, я обещаю им по семьдесят рублей суточных помимо жалованья, а в случае их гибели семья получит по три тысячи сразу...

Вечером он велел жандармскому полковнику Балашову сделать к утру доклад о положении в столице. Полковник в шинели солдата-окопника всю ночь ходил по улицам, наблюдая за людьми и событиями, а утром разбудил Протопопова словами:

— Это конец! Советую вам скрыться...

Министр рухнул в обморок. Его воскресили с помощью нашатыря, и поначалу он затаился на даче Бадмаева у Поклонной горы; врач бросал на жаровню ароматные травки и бубнил, что стрелять и вешать надо было раньше, а теперь уже поздно. Звонок по телефону словно взорвал притихшую в снегах дачу.

Звонила жена Протопопова, плачущая навзрыд.

— Ты вот сбежал, меня бросил,— упрекала она мужа,— а к нам ворвались солдаты, искали тебя, распороли штыками всю обивку на диванах и креслах. Хорошо, что не убили.

— Откуда ты звонишь?

— Мог бы и сам догадаться, что меня приютил твой брат Сергей на Калашниковской набережной...

На Литейном министр (еще министр!) видел, что казаки, посланные для усмирения восставших, лениво крутили цигарки в седлах. Если кто из них ронял пику, прохожие поднимали ее и дружелюбно подавали казаку. На углу Некрасовской, оскалив красные от кро-

ви зубы, лежал убитый жандарм... Стрельба, пение, оркестры!

Протопопов решил укрыться в Мариинском дворце; тут его поймал по телефону градоначальник Балк, сказавший, что сопротивление немыслимо — он с отрядом конных стражников пробьется в Царское Село, чтобы там охранять императорскую семью.

— На ваше усмотрение,— отвечал Протопопов.

В грохот оркестров вмешивалась трескучая дробь пулеметов, расставленных на крышах. Мертвые на улицах стали так же привычны, как свежая булочка к утреннему чаю... Голицын сказал:

— Александр Дмитриевич, ваше имя раздражает толпу. Простите, но вы должны покинуть нас... нужна благородная жертва!

Покидать Мариинский дворец, где был отличный буфет, где от калориферов разливалось приятное тепло, было страшно. Протопопов забрел в кабинет Госконтроля, в мрачной и темной глубине которого ничего не делал госконтролер Крыжановский.

— Можно я посижу у вас? — спросил робко.

Ну, не гнать же его в три шеи.

— Посидите,— отвечал Крыжановский.— Только недолго. А то вас уже ищут. Вас и вашего товарища Курлова.

Потом спросил, где он собирается ночевать.

— Не знаю. Мой дом разбит. А к брату идти боюсь.

Контролер дал ему адрес: Офицерская, дом № 7. Протопопов снял пенсне и поднял воротник пальто, чтобы не быть узнанным. Возле Максимилиановской лечебницы со звоном распались стекла витрин, шустрая бабка в валенках шагнула в магазин через окна, будто в двери. Протопопов сунулся в подъезд № 7 по Офицерской, но швейцар накостылял министру внутренних дел по шее.

— Проваливай! Ходют здеся всякие...

«Бреду обратно,— писал Протопопов,— через площадь к Николаевскому мосту — не пускают. Я думал пройти на Петербургскую сторону, Б. пр., д. № 74, к своей докторше Дембо. Перешел Неву по льду... через Биржевой не пускают, через Тучков тоже, а по Александровскому проспекту — стрельба ружей и пулеметов. Вернулся к Мариинскому дворцу...»

— Это опять вы? — возмутился Крыжановский.— Вам же сказано, что ваше присутствие в правительстве неуместно.

Протопопов заплакал и сказал, что с Офицерской его выгнали. Крыжановский сунул ему адрес другого убежища: Мойка, дом № 72. «Я вновь вышел на улицу; толпа была еще велика, и масса вооруженных, даже мальчиков, стреляли зря — направо и налево и вверх. Дальше от площади по Мойке было сравнительно тихо... Идти было очень опасно, могли узнать, и тогда не знаю, остался ли бы я живым». Эту ночь он провел на чужом продавленном диване.

— Боженька, за что ты меня наказуешь?..

Утром Протопопову дали чаю и кусок черного хлеба. В передней он увидел на столике кургузую кепочку и спросил хозяев:

— Можно я возьму ее? А вам оставлю шляпу.

— Берите уж... ладно. Не обедняем.

Замаскировав себя под «демократа», министр внутренних дел вышел на улицы, управляемые пафосом революции. Он укрылся на Ямской у портного, который совсем недавно сшил для него дивный жандармский мундир, суженный в талии. От портного министр узнал, что Курлов уже арестован; газеты писали, что есть нужда в аресте Протопопова, но его нигде не сыскать,— всех знающих о его местопребывании просят сообщить в канцелярию Думы.

— Неужели же я грешнее всех? — спрашивал Протопопов.

При нем были ключи от несгораемого шкафа, в котором хранились секретные шифры, и была еще пачка полицейских фотографий, сделанных с мертвого Распутина в различных ракурсах тела. Протопопов умолил портного, чтобы послал свою девочку на Калашниковскую набережную с запискою к брату. Та вернулась с ответом. «Дурак! — писал брат Сергей.— Имей мужество сдаться...»

Портной плотно затворил за министром двери.

Стопы были направлены к Таврическому дворцу.

«Боже, что я чувствовал, проходя теперь, чужой и отверженный, к этому зданию... Господи, никто не знает путей, и не судьи мы сами жизни своей, грехов своих». Протопопов обратился к студенту с красной повязкой поверх рукава шинели; закатывая глаза к небу и слегка заикаясь, он сообщил юноше:

— А ведь я тот самый Протопопов...

— Ах, это вы? — закричал студент, вцепившись в искомого мертвой хваткой.— Товарищи, вот она — гидра реакции!

Было 11 часов вечера 28 февраля 1917 года.

Громадную толпу солдат и рабочих, готовых растерзать Протопопова, прорезал раскаленный истерический вопль:

— Не прикасаться к этому человеку!

Керенский спешил на выручку; очевидец вспоминал, что он «был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. А между штыками я увидел тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно съежившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова».

— Не сметь прикасаться к этому человеку!

Керенский возвещал об этом так, словно речь шла о прикосновении к прокаженному. Керенский кричал об «этом человеке», не называя его даже по имени, но всем видевшим Протопопова казалось, что это вовсе не человек, а какая-то серая зола давно затоптанных костров... Буквально вырвав своего бывшего коллегу по думской работе из рук разъяренной толпы, новоявленный диктатор повлек его за собой, словно жертву на заклание, крича:

— Именем революции... не прикасаться!

Он втащил Протопопова в павильон для арестованных. С размаху, еще не потеряв инерции стремительного движения, Керенский бухнулся в кресло, так, что колени подскочили выше головы, и голосом, уже дружелюбным, сказал с удивительным радушием:

— Садитесь, Александр Дмитриевич... вы дома!

«Навьи чары», казалось, еще продолжаются: в уголке посиживает Курлов, вот и Комиссаров... Какие родные, милые лица.

— Ну, я пойду! — вскочил Керенский, выбегая...

К услугам арестованных на столе лежали папиросы, печенье и бумага с конвертами для писем родственникам. Слышался тихий плач и сморкание — это страдал Белецкий, общипанный и жалкий.

— Почему я не слушался своей жены? Бедная, несчастная женщина, она же говорила, что добром я не закончу... За эти годы я прочел столько книг о революциях, что мог бы и сам догадаться, что́ меня ждет в конце всех концов. Ах, глупая жизнь!..

Из угла павильона доносился могучий храп — это изволил почивать, сидя в кресле, сам Горемыкин, и его длинные усы колебались под дуновением зефира, вырывавшегося из раздутых ноздрей. Раньше он утверждал, что война его не касается; сейчас он демонстрировал равнодушие и к революции... Комиссаров сказал:

— Вот нервы, а? Позавидовать можно.

Зато министр финансов Барк напоминал удавленника: галстук болтался, как петля, из воротничка торчала одинокая запонка.

— А ведь могут и пришлепнуть,— высказался он.

Штюрмер аккуратно прочистил нос, заявил с апломбом:

— Гуманность, господа, это как раз то самое, чего никогда не хватало России... Будем взывать к гуманности судей!

— Паша,— сказал Протопопов,— пожалей ты меня.

Курлов волком глянул из-под густых бровей.

— Мы сажали, теперь сами сидим... И не ной!

— Но я же никому ничего дурного не сделал.

— Э, брось, Сашка! Хоть мне-то не трепись...

Под министром юстиции Добровольским вибрировал стул.

— Ну, да — играл! В баккара, в макао. Каюсь, долги в срок не возвращал. Но жена, но дети... Так в чем же я виноват?

— А я всегда был сторонником расширения гражданских прав,— отвечал ему Протопопов.— Теперь говорят, что я расставил по чердакам пулеметы... Господа, посмотрите на меня и представьте себе пулемет. Я и пулемет — мы не имеем ничего общего!

Была уже ночь. Отсветы костров блуждали по потолку павильона. «Приходил фельдфебель... подошел ко мне и почти в упор приставил к моей голове маузер; я не шелохнулся, глядя на него, рукой же показал на образ в углу. Тогда он положил револьвер в кобуру, поднял ногу и похлопал рукой по подошве...»

Протопопов затем спросил Курлова:

— Паша, а что должен означать этот жест?

— Догадайся сам. Не так уж это трудно...

Двери раскрылись, и в павильон охрана впихнула типа, у которого один глаз был широко распялен, а другой плотно зажмурен. Это предстал Манасевич-Мануйлов — в брюках гимназиста, доходящих ему до колен, а голову Ванечки украшала чиновничья фуражка с кокардой самого невинного ведомства империи — почтового!

— Пардон,— сказал он, шаркнув.— Но при чем же здесь я? Не скрою, что удивлен, обнаружив себя в обществе злостных реакционеров и угнетателей народного духа. Впрочем, о чем разговор?

Жандармы Курлов и Комиссаров стали позевывать.

— А не поспать ли нам, Павел Григорьич?

— Я тоже так думаю,— согласился Курлов.

Генералы от инквизиции составили для себя по три стула (причем один недостающий стул Курлов вырвал из-под Ванечки) и разлеглись на них. Удивительные господа! Они еще могли спать в такие ночи... Но министрам было не до сна, и они обмусоливали риторический вопрос — кто же виноват?

— Ну, конечно,— сказал Манасевич, не унывая.— Какие ж тут средь вас могут быть виноватые? Господа,— подал он мысль,— вы же благороднейшие люди. Если кто и был виноват все эти годы, так это только покойник Гришка Распутин...

Ну что ж! Распутин — отличная ширма, за которой удобно прятаться. Добровольский полез к Ванечке с поцелуями.

— Воистину! Да, да... если бы не Распутин, мы бы жили и так бы и померли, не узнав, что такое революция!

Храп как обрезало: поддерживая серые английские брюки в полоску, вышел на середину древний годами Горемыкин, который при аресте забыл вставить в рот челюсть. Прошамкал:

— Я шлышу имя Рашпутина! Боше мой, не будь этой шатаны, вшо было б благоприштойно. Почему я толшен штрадать за Рашпутина?

Штюрмер призвал самого бога в свидетели.

— Мы шли в состав правительства, осиянные верой в добро, и мы добро делали. Конечно, не будь на Руси этого гнусного шарлатана, разве бы ночевал здесь? Вон растянулись двое. На трех стульях сразу. А я должен всю ночь сидеть. Хорошо хоть, что не отняли последний стул...

Стулья заскрипели, и Комиссаров поднял голову.

— Господа министры, вы дадите поспать людям или нет? Что вы тут воркуете, когда и без того уже все ясно!

Чтобы не мешать сердитым жандармским генералам, министры, как заговорщики, перешли на деликатный шепоток. Сообща договорились, что на допросах все беды следует валить на Распутина как на злого демона России, который задурманил разум царя и царицы, а мы, исполнители высшей власти, хотели народу только хорошего, но были не в силах предпринять что-либо, ибо демон оказался намного сильнее правительства... С этим они и заснули, вздрагивая от лязга оружия в коридоре, от топота солдатских ног и выкриков ораторов на площади. За стенами Таврического дворца бурлила разгневанная музыка, медь оркестров всплескивала народные волны,— за синими февральскими вьюгами бушевала Вторая Русская Революция, и мало кто еще знал, что вслед за нею неизбежно грянет — Третья, Великая, Октябрьская...

Посреди площади с треском разгорались костры. Гремела, буйствовала «Марсельеза».

Как всегда — зовущая и ликующая!

АВТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я начал писать этот роман 3 сентября 1972 года, а закончил в новогоднюю ночь на 1 января 1975 года; над крышами древней Риги с хлопаньем сгорали ракеты, от соседей доносился перезвон бокалов, когда я, усердный летописец, тащил в прорубь узел с трупом Распутина, гонял по столице бездомного министра.

Итак, точка поставлена!

Говорят, один английский романист смолоду копил материалы о некоем историческом лице, и к старости у него оказался целый сундук с бумагами. Убедясь, что все собрано, писатель нещадно спалил все материалы на костре. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, романист отвечал: «Ненужное сгорело, а нужное осталось в памяти...»

Я не сжигал сундук с материалами о Распутине, но отбор нужного был самым мучительным процессом. Объем книги заставил меня отказаться от множества интереснейших фактов и событий. В роман вошла лишь ничтожная доля того, что удалось узнать о распутинщине. Каюсь, что мне приходилось быть крайне экономным, и на одной странице я иногда старался закрепить то, что можно смело развернуть в самостоятельную главу.

У нас обычно пишут — «кровавое правление царя», «жестокий режим царизма», «продажная клика Николая II», но от частого употребления слова уже стерлись: им трудно выдерживать смысловую нагрузку. Произошла своего рода амортизация слов! Я хотел показать тех людей и те условия жизни, которые были свергнуты революцией, чтобы эти заштампованные определения вновь обрели наглядную зримость и фактическую весомость.

По определению В. И. Ленина, «контрреволюционная эпоха (1907—1914) обнаружила всю суть царской монархии, довела ее до «последней черты», раскрыла всю ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее...»

Вот *именно об этом* я и писал!

Наверное, мне могут поставить в упрек, что, описывая работу царского МВД и департамента полиции, я не отразил в романе их жестокой борьбы с революционным движением. По сути дела эти два мощных рычага самодержавия заняты у меня внутриведомственными склоками и участием в распутинских интригах.

Так и есть. Не возражаю!

Но я писал о негативной стороне революционной эпохи, еще на титульном листе предупредив читателя, что роман посвящен *разложению самодержавия*. Прошу понять меня правильно: исходя из представлений об авторской этике, я сознательно не желал умещать под одним переплетом две несовместимые вещи — процесс нарастания революции и процесс усиления распутинщины. Мало того, работу царского МВД в подавлении революционного движения я уже отразил в своем двухтомном романе «На задворках великой империи», и не хотелось повторять самого себя. Отчасти я руководствовался заветом критика-демократа Н. Г. Чернышевского, который говорил, что нельзя требовать от автора, чтобы в его произведении дикий чеснок благоухал еще и незабудками! Русская пословица подтверждает это правило: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь...

Теперь я должен сделать откровенное признание.

Кажется, кому же еще, как не мне, автору книги о распутинщине, дано знать о тех причинах, что сделали Распутина влиятельным лицом в империи. Так вот именно я — автор! — затрудняюсь точно ответить на этот коварный вопрос.

Память снова возвращает меня к первым страницам.

Распутин пьет водку, скандалит и кочевряжится перед людьми, он похабничает и ворует, но... Согласитесь, что была масса причин для заключения Распутина в тюрьму, но я не вижу причин для выдвижения этой личности на передний план.

Только ограниченный человек может думать, будто Распутин выдвинулся благодаря своей сверхсексуальности. Поверьте мне, что вся мировая история не знает случая, чтобы человек выдвинулся благодаря этим качествам. Если присмотреться к известным фигурам фаворитизма, к таким ярким и самобытным личностям, какими были герцог Бирон, семья Шуваловых, братья Орловы, князь Потемкин-Таврический, Годой в Испании или Струензе в Дании, то мы увидим картину, совершенно обратную распутинщине. Проявив в какой-то момент чисто мужские качества, фавориты затем выступали как видные государственные деятели с острой хваткой административных талантов — именно за это их и ценили коронованные поклонницы.

Мне могут возразить на примере Потемкина... Да, этот человек не был чистоплотной натурой. Но, обладая крупными пороками, он обладал и большими достоинствами. Потемкин строил города, заселял гигантские просторы необжитых степей Причерноморья, он сделал из Крыма виноградный рай, этот сибарит умел геройски выстоять под шквалом турецких ядер, когда его адъютантам срывало с плеч головы; умнейшие люди Европы ехали за тридевять земель только затем, чтобы насладиться беседою с русским Алкивиадом, речь которого блистала остроумием и афористичностью.

Какое же тут может быть сравнение с Распутиным!

Из истории фаворитизма известно, что, получив от цариц очень много, русские куртизаны умели тратить деньги с пользою не только для себя. Они собирали коллекции картин и минералов, ценные книги и гравюры, вступали в переписку с Вольтером и Дидро, выписывали в Петербург иностранных архитекторов и живописцев, оркестры и оперные труппы, они вкладывали деньги в создание лицеев и кадетских корпусов, после них оставались картинные галереи и дворцы с парками, дошедшие до наших дней как ценные памятники русского прошлого.

А что дошло до нас от Распутина?

Грязные анекдоты...

Так я еще раз спрашиваю — где же тут причины, которые могли бы конкретно обосновать его возвышение?

Я не вижу их. Но я... догадываюсь о них!

Мое авторское мнение таково: ни в какие другие времена «фаворит», подобный Распутину, не мог бы

появиться при русском дворе; такого человека не пустила бы на свой порог даже Анна Иоанновна, обожавшая всякие уродства природы. Появление Распутина в начале XX века, в канун революций, на мой взгляд, вполне закономерно и исторически обоснованно, ибо на гноище разложения лучше всего и процветает всякая мерзкая погань.

«Помазанники божьи» деградировали уже настолько, что ненормальное присутствие Распутина при своих «высоконареченных» особах они расценивали как нормальное явление самодержавного быта. Иногда мне даже кажется, что Распутин в какой-то степени был для Романовых своеобразным наркотиком. Он стал необходим для Николая II и Александры Федоровны точно так же, как пьянице нужен стакан водки, как наркоману потребно регулярное впрыскивание наркотика под кожу... Тогда они оживают, тогда глаза их снова блестят!

И надо достичь высшей степени разложения, нравственного и физиологического, чтобы считать общение с Распутиным «божьей благодатью»...

Я, наверное, не совсем понимаю причины возвышения Распутина еще и потому, что стараюсь рассуждать здраво. Чтобы понять эти причины, очевидно, надо быть ненормальным. Возможно, что надо даже свихнуться до того состояния, в каковом пребывали последние Романовы,— тогда Распутин станет в ряд необходимых для жизни вещей...

На этом я и позволю себе закончить роман.

Роман — это дом с открытыми дверями и окнами. Каждый может устраиваться в нем, как ему удобнее.

Жанр романа тем и хорош, что оставляет за автором право что-то недосказать, чтобы оставить простор для читательского домысла.

Без этого домысла никакой роман не может считаться законченным.

«ЖЕЛЕЗНАЯ БАШКА» ПОСЛЕ ПОЛТАВЫ

Король был прост. Сначала имел сервиз из серебра, потом цинковый, а под Полтавой ел из жёстяной миски. Академик Е. В. Тарле пишет: «Он был очень выносливый физически, молчаливо выносил долгое отсутствие привычной пищи и даже свежей, не пахнущей болотом воды. Его воздержанность, суровый, спартанский образ жизни, недоступность соблазнам — все это внушало к нему уважение». Карл XII питался хлебом с маслом, поджаренное на сковородке сало было для него уже лакомством. Когда он мерзнул, в палатку к нему приносили раскаленные ядра. Вина не употреблял (после того как в молодости однажды напился и наболтал глупостей). Женщин король сторонился. «Любовь испортит любого героя»,— утверждал он. Годами не менял одежды, в которой и спал, и сражался, редко снимал ботфорты и забывал мыть потные ноги.

У нас хорошо знают, что было *до* Полтавы и что было *под* Полтавой, но, кажется, не всем известно, что было *после* Полтавы... Накануне битвы король ввязался в дурацкую перестрелку с казаками и был ранен: пуля вонзилась в пятку и, пройдя через ступню, застряла между пальцев. Король сказал:

— Не в голову же! Вырежем пулю на славу...

Пока хирург извлекал пулю, слуга Гультман читал его величеству XV песнь из «Саги о Фритьофе»: «Рана — прибыль твоя: на челе, на груди то прямая украса мужам; ты чрез сутки, не прежде, ее повяжи...» Карл видел, как шведские флаги не раз уже были сброшены с валов Полтавы жителями города.

— Уж не сошли ли русские с ума, осмеливаясь сопротивляться лично мне и атакам моих непобедимых драбантов?

Рёншильда спрашивали, ради чего шведская армия торчит под этим городишком, фельдмаршал отвечал с раздражением:

— Королю скучно — Полтава для него развлечение...

А гетман Мазепа мрачно увещевал запорожцев:

— Потерпите, панове! Что там шведы? Скоро и татары из Крыма явятся. Тогда мы так Москвою тряхнем, что из нее все деньги сразу посыпятся, только успевай подставлять шапки...

В близости татар не сомневались: в лагере Карла XII явились от хана Девлет-Гирея миндаль, изюм, виноградное вино, пастила. Полтавское сражение открылось 8 июля 1709 года; битва исторического значения не была долгой — в два часа все было уже решено. Русское ядро разбило паланкин, в котором лежал король, а носильщиков изранило. Карла XII вбросили в седло убитого драгуна, настегнули под ним лошадь. Он кричал:

— Только не плен! Лучше подохнуть в Турции...

Вровень с ним скакал ясновельможный гетман Мазепа — изможденный старик в богатом жупане. Стаи птиц с криком пролетали над всадниками. Их нагнал храбрый генерал Спарре, которого Карл XII прочил в московские губернаторы.

— Русский царь не пойдет на мир, пока мы не выдадим ему этого плута! — И плетью он указал на гетмана.

Мазепа, пригнувшись, вонзил длинные испанские шпоры в бока лошади. Пять суток подряд мчались в безлюдном шатании трав и ковылей, устилая разбитый шлях трупами, людскими и конскими. На берегах Буга с трудом нашли одну лишь лодку, в которую внесли Карла XII, на шаткое днище попрыгали самые проворные, в том числе и гетман. Шведов настигла русская кавалерия, король издали видел, как русские вяжут его отважных драбантов. Дырявая лодка тонула, и король безжалостно повыбрасывал за борт бочонки с золотом, принадлежавшие Мазепе.

Беглецы остановились в Бендерах, где для короля был раскинут шатер. Петр I настойчиво требовал от Турции выдачи ему изменника Мазепы, и на ясновельможного, погруженного в ужас расплаты, вдруг напали *вши*! Мазепа выл и скребся, отряхивал вшей горстями, но они возникали вновь с такой непостижимой быстротой, будто организм старца сам порождал эту нечисть. Согласно легендам, Мазепа был буквально заеден вшами, отчего и умер, а Карл XII сказал:

— Достойная смерть великого человека! Вши заели и римского диктатора Суллу, они загрызли иудейского царя Ирода, а испанского короля Филиппа Второго вши не покинули даже в гробу.

Мазепу увезли в румынский Галац, там и закопали. Но янычары в поисках золота отрыли труп гетмана, обобрали с него одежды и швырнули в Дунай. Далее, по словам шведского историка, началось «фантастическое приключение в духе средневековых рыцарских романов». Главным героем романа стал Карл XII, которого за упрямство турки прозвали «железной башкой».

В год Полтавы королю было всего 27 лет.

. . . . . .

По мусульманским понятиям, гостя в своем доме обидеть нельзя, а Карл XII остался в турецких владениях на правах гостя. Но даже историки, восхвалявшие короля, невольно оказывались в тупике беспочвенных догадок, не в силах толково объяснить, почему Карл XII «загостился» в Бендерах на п я т ь долгих лет, в то самое время когда Швеция вымирала от бескормицы и жестоких налогов, а Петр I штурмовал Выборг и Кексгольм, вступил в Ревель, отвоевывал у шведов

Финляндию, спешно отстраивал Петербург, утверждая господство русского флота на берегах Балтики. До нас дошла надменная фраза Карла XII: «Пусть он строит. Я вернусь — все разрушу...»

«Железная башка» после Полтавы не потерял даже малой толики самоуверенности и держался с видом победителя, завоевав особую любовь турецких головорезов. Раскинув лагерь неподалеку от Бендер, король выбрал неудачное место, затопляемое водами Днестра, на что и указали ему янычары. Но Карл XII не перенес лагерь на возвышенность, и весною, когда все спасались от половодья, он остался в своем шатре, стоя по колено в бурлящей воде. Этим он вызвал восхищение янычар:

— Вот железная башка! Ну какая упрямая башка!

Объяснять долгое пребывание Карла XII в Бендерах ущемленным самолюбием или патологическим упрямством никак нельзя На путях в Валгаллу он не выронил меча из длани и, неплохо разбираясь в политике Европы, отлично понимал, что военная коалиция Швеции, Польши и Турции с Крымом вместе — это не выдумка, а трезвая реальность, не учитывать которой не может и Петр I, требующий от султана изгнания шведского короля из бессарабских провинций. Выстроив в своем лагере дом для себя и свиты, Карл XII из этого дома сплетал паутину интриг, в ней он ловко запутал Австрию с Францией, которые через своих послов воздействовали на султана Ахмеда III, и своего добился: «Турция неожиданно объявила войну России!» Карл XII, горя отмщением за Полтаву, домогался получить под свое начало всю турецкую армию, но великий визирь Мехмед-паша отказал ему в этом:

— Король! Не подобает тебе, христианину, руководить правоверными мусульманами... Я сам поведу войско!

Петр I с русскою армией был окружен на Пруте громадными таборами янычар и крымских татар. Положение критическое. Порох и ядра кончались, фураж истреблен. Люди не имели пищи, кони бродили от дерева к дереву, обгрызали кору и поедали стебли. Но два штурма янычар все же отбили с успехом, и янычары, боясь поражения, уже буянили перед шатром визиря:

— Больше не пойдем на гяуров! Иди сам или добудь мир!

Карл XII предавался ликованию. «Я каждую минуту,— писал он,— ожидал известия, что враг сдался, и уже представлял себе, с какой неописанной радостью увижу я Петра, лежащего у ног моих...» Петр приказал сжигать обозы и багаж армии. У него развилась страшная мигрень, он ушел в шатер и стал плакать от бессилия. Множество русских дам, сопровождавших армию в походе, генералы и офицеры последовали примеру Екатерины, догадавшейся отказаться от драгоценностей, и Мехмед-паша принял очень большую взятку в золоте и бриллиантах, после чего дозволил русским выйти из окружения с музыкой и развернутыми знаменами... Карл XII, узнав об этом, закричал:

— Коня! — и, запрыгнув в седло, помчался к Пруту...

Переправы через реку не было. Король шенкелями загнал лошадь в воду, а форсировав Прут, нечаянно угодил в самый центр русского лагеря. Вот бы его здесь и хватать голыми руками! Но ведь никто не думал, что Карл XII способен на подобную дерзость, да и трудно было признать короля Швеции в этом мокром и бледном всаднике, который, выбравшись на берег, галопом проскакал словно бешеный через весь русский компонент в сторону бивуаков турецкой армии. Великого визиря он стал гневно упрекать — как тот осмелился заключать мир без его, высококоролевского, ведома:

— Дай мне хотя бы десять пушек, и я обещаю тебе, глупец, повернуть назад всю историю варварской России...

Бывший дровосек, волею аллаха ставший великим визирем Оттоманской империи, невозмутимо покуривал янтарную трубку.

— Войну вел я, а не ты! Наши законы,— отвечал он королю,— повелевают мириться с неприятелем, который устал и просит о мире. Ты под Полтавой испытал гнев русских, мы их тоже знаем достаточно. Если тебе не хватает драки, бери своих поваров, писарей и лакеев, воюй хоть с утра до ночи.

— Но ведь одно усилие, и ты можешь стать велик, пленив не только армию, но и самого русского царя.

В ответе Мехмед-паши обнаружился юмор:

— Кто же станет управлять Россией, если я пленю русского царя? Каждый цезарь должен проживать у себя дома...

Это было уже оскорбление. Вольтер пишет, что Карл XII сел на диван рядом с визирем, долго смотрел на старика в упор, потом задрал ногу и острой шпорой распорол одежду Мехмед-паши, затем удалился в молчаливой ярости. Ахмед III прислал в Бендеры 30 арабских скакунов и мешки с деньгами, деликатно давая понять королю, что пора бы и честь знать — не побывать ли ему дома, где шведы забыли, как выглядит их король!

Но король на подобные намеки не обращал внимания, а деньги, которые слали ему на дорогу, он транжирил на свои надобности. И даже Франция, и даже Австрия не могли убедить «железную башку», чтобы из бендерского захолустья он возвратился в отечество, где его присутствие крайне необходимо. Наконец султан лично заверил Карла XII в том, что русские войска не станут мешать его проезду через польские пределы. Ахмед III соглашался выделить конвой в 10 000 турецких спагов для безопасности. Карл XII требовал 50 000 всадников (а столько же татар обещал дать ему Девлет-Гирей, хан крымский). Под видом конвоя он задумал набрать *армию* в 100 000 человек, пустить же его в Польшу — как козла в огород с капустой! Ясно же, что «железная башка» снова откроет войну с Россией...

Терпение турок истощилось, и в феврале 1713 года в Бендерах произошел знаменитый на всю Европу «калабалик». Это турецкое выражение сейчас переводят как «ссора», а раньше переводили более замысловато: «игра или возня со львом!» Шведы же объясняют его проще: «свалка, куча мала, потасовка, драка»...

Не зная, как выжить короля, султан снова прислал ему подарки, лошадей, богатую карету и мешки с золотом. По подсчетам историков, король в общей сумме вытянул из казны султана один миллион «ефимков» (рейхсталеров). Он просил еще 600 кисетов с золотом, чтобы расплатиться с долгами.

Бендерский сераскер настаивал на скором отъезде.

— Иначе,— пригрозил он,— падишах повелит мне принудить тебя к путешествию до своего дома, а мне бы не хотелось применять насилие, всегда связанное с бесчестьем.

Ответ Карла XII сохранился для истории:

— На вашу силу отвечу собственной силой....

В этот период при короле в Бендерах насчитывалось около 700 человек, включая прислугу и свиту. Сераскер запретил доставку продовольствия в шведский лагерь. Карл XII зарядил пистолеты и перестрелял арабских скакунов — дар султана:

— Если нет корма, зачем мне эти лошади?

Сераскер приказал блокировать шведский лагерь. На это Карл ответил сооружением баррикад, а свой дом обставил палисадом из заостренных бревен. Наконец припасы у шведов кончились, люди начали голодать, и тогда «железная башка» открыл военные действия против страны, которая дала ему приют, терпела всяческие его капризы и воздавала ему почести, согласно древнему принципу: кесарю кесарево! Карл XII объявил:

— Когда на войне недостает фуража, войско добывает его через реквизиции у противника...

Султан переправил в Бендеры суровый «хатти-шериф»: Карла отправить силой в греческие Салоники, откуда французы морем доставят его в Марсель; «...если же король погибнет, смерть его не должна ставиться в вину мусульманам». Была обнародована духовная «хетва» к правоверным, разрешающая нарушить законы Корана, а убийство «гостей» никому в вину не ставить. Короля навестил евангелический пастор и, пав на колени, умолял Карла XII не губить в Бендерах жалкие остатки той великой армии, что смогла уцелеть после Полтавы. Король топнул ботфортом:

— Для проповедей избери себе иное место, а здесь сейчас разгорится новая кровавая битва... Уходи!

Турки имели 12 пушек, а всего сераскер собрал 14 000 войска (по иным сведениям, его численность превышала 30 000 человек). Пушки уже громили баррикады, когда янычары стали горланить, что «хатти-шериф» подложный и на приступ шведского лагеря они не пойдут. Сераскер схватил зачинщиков бунта, утопил их в Днестре, затем показал янычарам личные печати султана:

— Если вам так уж по сердцу шведский король, можете сами уговорить его исполнить повеление нашего падишаха...

Взяв в руки белые палочки (знак миролюбия), янычары без оружия явились в шведский лагерь, истошно крича, что не дадут в обиду Карла XII, но пусть он только доверится им, янычарам, и они доставят его хоть на край света. Карл XII высунулся из окна второго этажа, крикнув своим друзьям:

— Пошли все вон! Иначе я спалю ваши бороды...

Янычары, огорченно покачивая головами, говорили:

— Ну какая железная башка! Где еще найдешь такую?

В ставке короля вооружились все до последнего поваренка с кухни. Голштинский посол Фабриций писал, что король нарочно обострил обстановку «лишь для того, чтобы представить миру образец боя, который бы казался потомству попросту невероятным». Атака янычар началась в воскресенье — как раз во время духовной проповеди. Оборона шведов была сломлена, турки взяли баррикады и рассыпали их, как мусор. Напрасно Карл XII взывал к мужеству своих верных сподвижников — офицеры не пожелали участвовать в его авантюре, а старый генерал Дальдорф разорвал на себе мундир, обнажая незажившие раны:

— Король! Неужели одной Полтавы тебе еще мало?..

Вокруг Карла XII остались лишь драбанты и слуги — человек тридцать, не больше. С трудом он пробился к своему дому. Одноглазый янычар схватил его за краги перчаток. Но король вырвался с такой силой, что упал на землю, а другой турок выстрелил: пуля прошла наискось, задев нос и бровь короля. Карл хотел ринуться врукопашную, но драбанты удержали его за поясной ремень сзади. Король, освобождаясь, расстегнул пряжку спереди, бросаясь в свалку, но его силой затворили в доме. Шведы забились в одну из комнат, а дом уже принадлежал туркам, грабившим все подряд. Карл XII ударом ноги распахнул двери в соседнюю комнату, уколами шпаги заставил турок отступить — кого выбил в двери, а кто сам повыпрыгивал через окна.

— Драбанты, честь дороже всего! — призывал король...

Столовая зала была переполнена янычарами, разбиравшими посуду. Трое из них кинулись на Карла XII, желая пленить его. Король двоих заколол, а третий начал рубить короля саблей. Закрываясь левой рукой, Карл XII чуть не лишился пальцев. Началась невообразимая драка — в лязге клинков, в криках и воплях, в звоне битой посуды. Карл XII был схвачен за глотку и прижат спиною к горячей кухонной плите.

— Драбанты! — позвал он на помощь.

Повар выстрелом в голову поверг турка, душившего короля. С боем Карл XII повел шведов на штурм спальни. Там все уже было разграблено и вынесено. Но два янычара еще стояли в углу, один спиною прикрыл грудь второго, и оба они держали перед собой пистолеты, готовые выпалить разом.

— Получайте сразу оба! — воскликнул Карл XII.

Рубака опытный, он пронзил обоих, нанизав турок на свой длинный клинок, будто букашек.

— Горим! — раздались крики с лестницы.

Крыша гудела от попаданий ядер. В стены здания впивались татарские стрелы с комками горящей пакли, янычары подбегали к дому короля, бросая в окна охап-

ки горящего сена. Карл XII велел обыскать всех убитых в поисках патронташей и оружия.

— Драбанты,— сказал Карл XII,— отныне вы все полковники.

— Крыша уже в пламени,— отвечали ему.

На чердаке пытались избавиться от горящих балок. Воды не было, пожар тушили болгарской водкой небывалой крепости, отчего пламя разгорелось еще сильнее. Карл XII и его свита спустились с чердака, когда лестница уже пылала. Потолки рушились.

— Пора уходить из дома,— доказывали Карлу XII.

— До тех пор,— возражал король,— пока на нас еще не загорелись одежды, я не вижу никакой опасности...

Наконец люди стали забивать пламя на своих одеждах.

— Король,— сказали они,— не лучше ли нам пробиться с боем до канцелярии, которая еще не горит?

— Отличный повод показать храбрость,— согласился Карл XII.

С пистолетом в левой руке, держа шпагу в правой, он выскочил на крыльцо перед изумленными турками. Но не сделал и пяти шагов, как его гигантские шпоры зацепились за кусты и король рухнул в обгоревшую траву. Тут его и схватили. Европа никак не ожидала такого финала: шведский король сделался пленником турок! Его отвезли в замок Демюрташ, где король выразил протест тем, что сразу же улегся в постель.

— Я не болен, но больше не встану,— сказал он.

Будучи в полном здравии, Карл XII умудрился целый год провести в постели. В самом деле, надо иметь «железную башку», чтобы обречь молодой организм на годичное существование в лежачем положении. Но весною 1714 года Карл XII испытал нервное возбуждение. Швеция еще держала крепость Штральзунд — последний оплот своего владычества в Померании, до короля дошли из Стокгольма слухи, что сестра собирается вступить на трон. Осенью он тронулся в путь. Всегда остригавший голову ножницами «под солдата», на этот раз Карл XII накрылся пышным париком, чтобы его не узнали. Сопровождал короля в пути через всю Европу лакей. В одну из ночей в воротах Штральзунда возникла тревога: кто-то ломился в крепость, требуя, чтобы его впустили.

— А кто ты таков? — спросили его с фасов.

— Открывайте! Это я — ваш король...

Карл XII проскакал через Европу за шестнадцать суток...

. . . . . .

Он сам возглавил оборону крепости, осажденной датчанами, и два месяца спал на земле перед воротами, особо опасными на случай штурма. Настала зима, лед сковал канавы, ведущие к морю. Не стало дров и хлеба. Претерпевая голод и стужу, Карл XII из Штральзунда диктовал приказы. Бомба взорвалась в соседней комнате, секретарь выронил перо.

— Отчего не пишешь далее? — спросил король.

— Но, ваше величество, бомба... *бомба!*

— Не понимаю, какое отношение к письму имеет бомба...

Наконец даже он осознал, что Штральзунд не удержать, и велел пробить во льду фарватер. Ночью, закутавшись в плащ солдата, он прыгнул в шлюпку, матросы навалились на весла, датчане открыли стрельбу, раня людей свиты. Под парусом пересекли море. Карл XII высадился на берегу Швеции, проведя ночь под скалой, защищавшей его от ветра, а когда рассвело, он узнал то самое место, которое покинул пятнадцать лет назад, чтобы вступить в единоборство с молодою Россией... А что было со Швецией, когда-то цветущей? Что застал он на родине после долгого отсутствия? Неурожаи, эпидемия чумы, войны и набеги выкосили население, а лучшие здоровые силы нации, оторванные от хлебных полей и железных рудников, погибали на полях битв, в снегах Сибири или на венецианских галерах...

— Зато я принес вам славу,— объявил он в Стокгольме.

Но шведы насытились славой по горло. В окружении короля вызрела оппозиция его правлению, возник заговор. Невзирая на все тяготы народа, Карл XII осенью 1718 года открыл новую кампанию — он вторгся в Норвегию, принадлежавшую тогда датчанам. Норвежская крепость Фредриксхальда напоминала орлиное гнездо в горах. В ночь на 30 ноября Карл XII осматривал саперные работы в траншеях. Он взобрался на вал и лег, подпирая голову левой рукою, желая лучше рассмотреть крепость в потемках. Его адъютант Яган Каульбарс, оставшись в траншее со свитою, постучал кулаком в подошвы ботфортов:

— Король, не пора ли подумать о голове?

— Оставь меня в покое, Яган, я должен все видеть сам...

Вслед за этим раздался странный плещущий звук («будто в болото упал камень»). Каульбарс за ноги стащил короля обратно в траншею. Карл XII был мертв. Протокола о смерти не составили. Придворный врач Мельхиор Нейман объявил, что пуля, убившая короля, прилетела из крепости — в левый висок. Но саперы, уносившие короля, утверждали, что рана в правом виске — выстрел сделан из траншеи. Настораживала очень большая сила удара пули, разрушившей череп, что возможно при выстреле с ближайшей дистанции. Хоронили Карла XII с подозрительной поспешностью. Швеция наполнялась мрачными слухами... Дабы пресечь их, в 1746 году Карла XII вынули из гроба. Выяснилось, что Мельхиор Нейман исказил истину: пуля пробила череп с правой стороны. Значит, стреляли в короля из траншеи. (А ведь Карл XII считал врача своим личным другом.) В 1859 году профессор истории Фриксель устроил повторную аутопсию Карла XII в присутствии членов королевской династии, но сомнения не разрешились. Пробовали стрелять из старинных ружей с фасов норвежской крепости по мишеням, которые втыкали в землю на том же месте, где лежал Карл XII, и — к удивлению криминалистов — пули с большою силой пробивали мишень насквозь. Шведский историк Ингвар Андерсон заключает главу о Карле XII словами: «Вопрос о том, погиб ли Карл XII от шальной пули из окопов или от пули тайного убийцы, не решен и сейчас».

Карл XII, эта неисправимая «железная башка», прожил всего лишь 35 лет, большую часть жизни проведя в походах вдали от родины. Сейчас наши историки пришли к выводу, что подлинный Карл XII «весьма далек от вольтеровско-пушкинского Карла. Величие петровской победы (при Полтаве) становится от этого еще ощутимее». Е. В. Тарле прав: тяжкое историческое возмездие постигло Швецию за ее попытку поработить русский народ.

После Карла XII правители Стокгольма трижды в истории жаждали реванша, но все их попытки кончались крахом, и лишь в 1809 году, когда русская кавалерия загарцевала в предместьях Стокгольма, шведы твердо решили: «Пусть эта война с Россией будет для нас войною последней!»

...На поле Полтавской битвы поставлен памятник «Шведам от россиян», и на нем можно прочесть благородные слова: «Вечная память храбрым шведским воинам...»

СТАРЫЕ ГУСИНЫЕ ПЕРЬЯ

Семен Романович Воронцов, посол в Лондоне, рассеянно наблюдал, как его секретарь Жоли затачивал гусиные перья.

— Порою,— рассуждал он,— нам платят за несколько слов, произнесенных шепотом, а иногда осыпают золотом даже за наше молчание... Такова уж профессия дипломата! — Из горстки перьев посол выбрал самое старое, обмакнул его в чернила: — Склянка с этой дрянью стоит гроши, но, используя ее с помощью пера, иногда можно изменить политику государства и без крови выиграть генеральную битву... Не так ли?

С поклоном явился Василий Лизакевич, советник посольства, и доложил, что ночью в Лондон прибыли русские корабли с традиционными грузами: смола, поташ, мед, пенька, доски.

— Распоряжением премьера Питта их лишили помощи лоцманов, и они вошли в Темзу сами... Боюсь, уплывут домой с пустыми трюмами, ибо в закупке товаров аглицких нам, россиянам, усилиями кабинета Сент-Джемского тоже отказано.

Семен Романович воспринял это спокойно.

— Яко младенец связан с утробою матери пуповиной, тако же и коммерция для англичан от политики неотделима. Ежели парламент во главе с Питтом войны с нами жаждет, то народ Англии желал бы лишь торговать с нами. А я устал! — Воронцов тяжело поднялся с кресла. Пожалуй, прогуляюсь.

Лондон был стар, даже очень стар. В ту пору столица имела лишь два моста, а туннеля под Темзой еще не было. Внутри кирпичных особняков царили покой и чистота, зато снаружи здания покрывала хроническая копоть из извечного угара каминов. Улицы были украшены афишками, предупреждавшими иностранцев беречь кошельки от жуликов. Лондон во все времена был слишком откровенен в обнажении своих жизненных пороков, и Семен Романович долгим взором проследил за колесницей, увозящей преступника на виселицу... Вдруг липкий комок грязи залепил лицо русского посла, раздалась брань:

— У-у, русская собака! Если ваши корабли не уберутся с Черного моря и Средиземного, вам не плавать и на Балтийском...

Было время диктатуры Уильяма Питта Младшего, время назревания того жестокого кризиса, который вошел в нашу историю под названием «Восточного» (хотя от берегов Темзы очень далеко до Азии, но виновником кризиса стал именно Лондон). Впрочем, России не привыкать выбираться из политических бурь, и Семен Романович брезгливо вытер лицо.

— Нет уж! — было им сказано.— На войну не рассчитывайте. Я затем и стою здесь, чтобы войны с вами не случилось...

Вечером он закончил депешу, извещавшую Санкт-Петербург: «Пока г. Питт, ослепленный Пруссией, пребудет здесь министром и пока король останется в опеке своей супруги, преданной совершенно двору берлинскому, России ничего полезного от Англии ожидать нельзя...» Петербургу не стоило объяснять, что Англией правила Ганноверская (немецкая) династия, а полупомешанный Георг III был женат на Шарлотте Мекленбургской, тоже немке. В конце депеши Воронцов добавил, что сумасшествие английского короля совпало по времени с началом Французской революции. Но не он, не король определял политику Англии,— это делал всемогущий и вероломный Питт Младший, породивший нелепую басню о «русской опасности» для Европы, и эта басня до сих пор хранится в боевых арсеналах врагов России — как старое, но испытанное оружие...

Перед сном Воронцов истово отмолился в посольской церкви, а восстав с колен, сказал священнику Смирнову:

— Каковы бы хороши ни были корабли у Англии, но колес они пока не имеют, дабы посуху до Москвы ехать, посему и наняли для войны армию пруссаков. Однако, смею надеяться, и сама Пруссия прохудит свои штаны у кордонов наших.

Яков Иванович Смирнов, давно живший в Англии, хорошо ее изучивший, человек грамотный, отвечал послу:

— Не дадим им смолы русской, так у них борта кораблей протекать станут, а без нашей-то пеньки из чего они канатов для флота навертят? Если мы, русские, чтим воззрения Адама Смита, почему бы и милордам над экономикой не задуматься?

С этим он и загасил душистый ладан в кадиле.

. . . . . .

После неудачной войны за океаном, потеряв владения в Америке, Англия все колониальные претензии переместила в Азию, торопливо закрепляя свое господство в Индии. При этом, бесспорно, Питта устрашали победы русских в войне с Турцией, которую, кстати, сказать, он сам же и спровоцировал. Чтобы спасти

султана, Питт благословил нападение на Россию шведских эскадр, и Россия получила *второй фронт* — столь опасный для нее, что даже улицы Петербурга затянуло пороховым дымом, когда у фортов Кронштадта сражались враждующие эскадры.

Но в конце 1788 года русские взяли Очаков штурмом, и парламент Англии, повинуясь Питту, как хороший оркестр талантливому дирижеру, сыграл на слишком бравурных нотах:

— Долой русских с Черного моря!..

В русском посольстве слышались разговоры:

— Если бы Очаков не пал, никто в Лондоне и не ведал бы, что такой паршивый городишко существует. А ныне не только милорды в парламенте, но даже нищие попрошайки и базарные торговки рассуждают, что без Очакова им всем пропадать...

Питт Младший, опытный демагог, заверял парламент, что победы России угрожают безопасности Англии:

— Высокомерие русского кабинета становится нетерпимо для европейцев. За падением Очакова видны цели русской политики на Босфоре, русские скоро выйдут к Нилу, чтобы занять Египет. Будем же помнить: ворота на Индию ими уже открыты...

Россия могучим плечом отбросила шведов от своей столицы и утвердила мир на севере. Но королевская Пруссия, это алчное государство-казарма, уже обещала турецкому султану объявить войну России, чтобы она снова задыхалась в тисках двух фронтов — на юге и на севере.

— Война с Россией неизбежна! — декларировал Питт...

Конечно, за интервенцию в Прибалтике предстояло расплачиваться с Гогенцоллернами не только золотом. Как раз в это же время Лондон навестил Михаил Огинский, известный патриот Польши и композитор; в беседе с ним Питт заявил открыто:

— Не хватит ли вам раздражать бедных пруссаков своим присутствием в Данциге? Между Варшавой и Лондоном не может быть никаких отношений, пока вы, поляки, не отдадите немцам Данциг, а если вы не сделаете этого по доброй воле, они все равно отберут его у вас — силой своего оружия...

Это был, если хотите, своего рода «Мюнхен», только опрокинутый из нашего века в давнее прошлое Европы, а Питт как бы предварял будущее предательство Чемберлена. Но в декабре 1790 года, утверждая свое победное торжество, русские воины — во главе с Суворовым! — взяли штурмом неприступный Измаил. А русский кабинет проявил такую непостижимую политическую гибкость, которая до сей поры изумляет историков. Екатерина II — втайне от Европы — решилась на союз с революционной Францией, чтобы сообща с нею противостоять своим недругам...

Питт, которому суждено было умереть после Аустерлица, крепко запил после падения Измаила! Но все силы ада уже были приведены им в движение.

. . . . . .

Газеты насыщали королевство безудержной пропагандой против России, чтобы война с нею обрела популярность в народе... Секретарь Жоли доложил Воронцову, что объявлен набор матросов на королевский флот, верфи Англии загружены спешной работой, а священник Смирнов только что вернулся из Портсмута:

— Он желает срочно переговорить с вами...

Яков Иванович встревожил посла сообщением:

— Для нападения на Россию уже отлично снаряжена эскадра в традцать шесть линейных кораблей, кроме коих готовы еще двенадцать фрегатов и с полсотни бригов.

— Каковы же настроения матросов, отец Яков?

— Скверные! Их похватали на улицах и в трактирах, никто из несчастных сих не желает служить питтовским химерам.

Советник Лизакевич вошел к послу с докладом:

— Увы! Вопрос с объявлением войны решен, в марте последует совместный ультиматум Пруссии и Англии, чтобы Россия покинула Крым и все области Причерноморья, уже с избытком орошенные нашей кровью... Англия слишком богата и на свои деньги всегда сыщет дураков на континенте, готовых воевать с нашей милостью. Наконец, Швеция не останется в стороне, дабы реваншироваться за свои неудачи на Балтике...

Итак, России предстояла борьба с коалицией!

— Я поговорю с самим Питтом,— решил Воронцов...

Беседа меж ними состоялась. Посол сказал, что Лондону следовало бы поточнее разграничить интересы самой Великобритании от интересов династии Ганноверской:

— Подумайте сами, что важнее для вашего процветания и могущества: дружба Ганновера с Берлином или союз Лондона с Петербургом? У вас торговлей с Россией ежегодно заняты триста пятьдесят кораблей и тысячи моряков, но подрубите этот доходный сук, на котором вы сидите, и... куда денутся моряки без работы? Конечно, они пополнят толпы нищих в трущобах лондонских доков, возрастет и преступность в городах.

Питт хлебнул коньяку и запил его портером.

— Оставьте! — грубо заявил он.— Я много думал над бедствиями Европы и пришел к выводу, что именно ваша варварская страна является главной пособницей революции во Франции...

— Вот как? Мне смешно,— заметил Воронцов.

— Якóбинцы, — упоенно продолжал Питт, — не смогли бы одержать столько внушительных побед, если бы ваша императрица не расшатала старые порядки Европы, если бы своей безнравственной политикой она не разрушила бы прочное равновесие Европы.

Нравственности Екатерины II посол не касался.

— Но ваш союз с Пруссией,— сказал он,— закончится разгромом... именно Пруссии! И тогда никакая Голконда в Индии не сможет возместить убытков Англии от войны с нами.

Питт не пожелал выслушивать посла далее:

— На этом паршивом континенте Россия осталась в прискорбном одиночестве... Впрочем,— досказал он,— о мирных намерениях своего кабинета вам лучше поговорить с герцогом Лидсом.

В посольском доме на Гарлейской улице жарко пылали камины. Лизакевич спросил о результатах беседы с премьером. Семен Романович погрел у пламени зябнущие руки.

— Если Питт отстаивает свое мнение, то обязательно с пеной у рта. При этом необходимо учитывать, что эта пена — самая натуральная, рожденная из бочки с портером. Не знаю, как сложится мой диалог с его статс-секретарем Лидсом...

Герцог Лидс ведал в Англии иностранными делами, он всегда был покорным слугой «ястреба» Питта:

— Лондон достаточно извещен, что вы, как и все Воронцовы, давно в оппозиции к власти Екатерины, и мне даже странно, что вы столь ретиво отстаиваете ее заблуждения.

— Я не служу личностям, я служу только отечеству! — отвечал Воронцов, обозленный выпадом герцога.— Я отстаиваю перед вами не заблуждения коронованной женщины, а пытаюсь доказать вам исторические права своего великого народа в его многовековых притязаниях на берега Черного моря.

— Где Черное, там и Средиземное,— усмехнулся Лидс,— а где Очаков, там и Дунай... география тут простая.

— Возможно! Только не думайте, что я стану действовать за кулисами политики, подавая оттуда «голос певца за сценой». Напротив, я решил взять политику вашего королевства за руку и вывести ее на площади Лондона и других городов Англии.

— Что это значит? — не понял его герцог Лидс.

— Это значит, что отныне я перестаю взывать к благоразумию ваших министров. Этот чудовищный спор между нами, быть войне или не быть, я передаю на усмотрение вашего же *народа*! И я,— заключил Воронцов,— уверен, что английский народ не станет воевать с Россией...

(«Лидс не знал, что отвечать мне»,— писал Воронцов.)

— Это ваше последнее слово, посол?

— Да! — Воронцов удалился, даже без поклона.

Узнав об этом разговоре, Питт долго смеялся:

— Народ? Но разве народы решают вопросы войны и мира? При чем здесь хор, если все главные партии исполняют солисты?..

Воронцов же мыслил иначе: «Я слишком хорошего мнения об английском здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что общенародный голос не заставит отказаться от этого несправедливого предприятия» — от войны с Россией!

. . .

Ричард Шеридан, драматург и пересмешник, состоял в оппозиции Питту. Встретив Воронцова, он сказал:

— Наконец-то и вы приобщились к нашей школе злословия. Как сторонник дружбы с Россией, я поддержу вас. Но иногда мне кажется, что слово «мир» дипломатам удобнее было бы заменять более доходчивым выражением — «временное перемирие»...

Лизакевич встревоженно известил посла:

— Прибыл курьер из Петербурга! Армия Пруссии уже придвинута к рубежам Курляндии, английский флот из Портсмута готов выбрать якоря... Необходим демарш!

Воронцов сказал, что поддержка Шеридана обеспечена:

— Но прежде я желал бы повидать самого Фокса...

Чарльз Джеймс Фокс, язвительный оратор и филолог, возглавлял оппозицию партии вигов. Назло Питту он приветствовал независимость Америки, восхвалял революцию во Франции. За неряшливый образ жизни его прозвали «английским Мирабо», а Екатерина II считала его «отпетым якобинцем». Фокс известил Воронцова, что свихнувшийся король уже передал в парламент текст «тронной речи», требуя в ней «ассигнования значительных сумм для усиления флота, чтобы придать более веса протестам Англии ради поддержания зыбкого равновесия в Европе...».

Фокс злостно высмеял это пресловутое равновесие:

— О равновесии силы в политике говорят так, будто на одной чаше весов гири, а на другой — куча перегнившей картошки. Сначала я желал бы пьяному Питту сохранить равновесие своего бренного тела на трибуне парламента... Не волнуйтесь, посол: завтра я последний раз проиграюсь на скачках, после чего не возьму в рот даже капли хереса, чтобы сражаться с Питтом в самом непорочном состоянии!

Воронцов собрал чиновников посольства:

— На время забудем, что в Англии существует Питт и раболепный ему парламент. Отныне мы станем апеллировать не к министрам короля, а непосредственно к нации... Милый Жоли,— обратился он к секретарю,— заготовьте побольше чернил и заточите как следует самые лучшие гусиные перья!

Все чиновники посольства, и даже священник Смирнов, превратились в политических публицистов, чтобы переломить общественное мнение в королевстве. Семен Романович вспоминал: «Я давал (им) материалы, самые убедительные и достоверные, с целью доказать английской нации, что ее влекли к погибели и уничтожению... торговли, и то в интересах совершенно ей чуждых... В двадцати и более газетах, выходящих здесь ежедневно, появлялись наши статьи, открывавшие глаза народу, который все более восставал против своего министерства... Во время этой борьбы ни я, ни мои чиновники не знали покоя и сна, и мы ночью писали, а днем бегали во все стороны — разносили в редакции газет статьи, которые должны были появиться на другой день». К этой борьбе русских в защиту мира подключились и сами англичане — негоцианты, врачи, адвокаты, ученые. Фокс не поленился продиктовать текст брошюры «По случаю приближения войны и поведения наших министров», и Екатерина II через курьера затребовала брошюру в Петербург — для перевода ее на русский язык. Пять долгих месяцев длилась ожесточенная борьба, а комнаты русского посольства слышали в эти дни только надсадное скрипение старых гусиных перьев...

Наконец однажды Лизакевич обрадовал посла:

— Первый проблеск надежды! Матросы портсмутской эскадры дезертируют с кораблей: им-то плевать на наш Очаков, им-то меньше всего нужна перестрелка с фортами Кронштадта.

Воронцов напомнил: природа войны такова, что она неизменно обогащает и без того богатых, но зато безжалостно обшаривает карманы бедняков, лишая их последнего пенса:

— Нам следует затронуть чувства жителей мануфактурных районов Англии, где рабочие и без того бедствуют...

Разрушая давние традиции дипломатической этики, Семен Романович умышленно отделял мнение правительства от гласа народного, гласа божьего. Русские — поверх напудренных париков милордов — протягивали руку дружбы народу Англии, и народ живо отозвался на их призыв к миру. Промышленные города Манчестер, Норвич, Глазго и Шеффилд сразу взбурлили митингами, «на которых,— сообщал Воронцов,— было решено представить в парламент петиции с протестом противу мер министерства против России... избиратели писали своим депутатам, требуя, чтобы они отделились от Питта и подавали голоса против него. Наконец в Лондоне на стенах всех домов простой народ начал писать мелом: «НАМ НЕ НАДО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ»...»

Питт, слишком уверенный в себе, зачитал перед парламентом обращение короля — одобрить билль о расходах на войну с Россией, а Пруссия и Англия вот-вот должны предъявить Петербургу грозный ультиматум... Питт не скрывал своих планов:

— Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и верфи Архангельска, наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях гавани Севастополя! И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари...

При голосовании его поддержало *большинство*. Но это «большинство», всегда покорное ему, уменьшилось на сотню голосов. Многие милорды, посвятившие жизнь воспитанию собак и лошадей, дегустации коньяков и хересов, никак не разумели, что такое Очаков и где его следует искать на картах мира.

— Откуда возникла нужда для Англии воевать из-за куска выжженной солнцем степи в тех краях, которые нам неизвестны? — спрашивали они.— Мы имели выгоды, и немалые, от торговли с Россией, но какую прибыль получим от войны с нею?..

Голосование повторили, но оппозиция обрела уже дерзостный тон, многие из друзей Питта вообще отказались вотировать его призыв к войне с Россией... Питт был даже ошеломлен:

— Надеюсь услышать от вас и более здравые речи...

На следующий день «Фокс,— по словам Воронцова,— говорил как ангел...» Лидер партии вигов начал свое громоизвержение, его юмор, как молния, разил тщедушного Питта:

— Ах, вот он, этот человек, проводящий здесь политику берлинского кабинета, жаждущего владеть Данцигом в Польше и Курляндией в России! Нам-то, всегда сытым, что за дело до непомерных аппетитов отощавших берлинских мудрецов? И разве, спрашиваю я вас, русские не правы в этой войне с Турцией, отстаивая свои рубежи от варварских нападений?.. Джентльмены! Что можно еще ожидать хорошего от человека, который высшую поэзию усмотрел не в Гомере и Овидии, а в никудышной грамматике парламентских речений? Наконец, стоит ли нам доверять министру, который, берясь за вино, предпочитает иметь дело не со стаканом, а с бутылками?.. Между тем народ требует от нас не иллюзорных побед, а конкретных гарантий мира!

Питт и на этот раз выиграл в голосовании. Да, выиграл.

Но с таким ничтожным перевесом голосов, что сам понял: это не победа, а поражение, вслед за которым начинается крах всей его бесподобной карьеры... Фокс в беседе с Воронцовым очень точно определил состояние Питта:

— Теперь он поглощен единою мыслью, как бы ему отсидеться в кустах, но без особого позора, ибо народ Англии никогда не пожелает разделить этот позор со своим премьером...

Питт решился на крайнюю меру — он распустил парламент. Всю вину за свое поражение он свалил на герцога Лидса, удалив его в отставку. Наконец решение было им принято:

— Ультиматума не будет! Я посылаю в Петербург старого добряка Фолкнера, чтобы тот согласился с мирными кондициями петербургского кабинета... Срочно шлите гонцов в Портсмут: пусть эскадра разоружается! А пруссакам — отвести войска обратно в казармы. Заодно уж передайте в Стокгольм, что Сити отказывает шведам в субсидиях на усиление флота... *Всё*!

Воронцов справился у Лизакевича, в какую сумму обошлась русской казне эта кампания борьбы за мир.

— Дешево! — засмеялся тот.— Да и когда еще старые гусиные перья стоили дорого! Мы выиграли битву за мир, истратив лишь двести пятьдесят фунтов стерлингов. Для сравнения я вам напомню, что дом нашего посольства потребовал от казны расходов в шесть тысяч фунтов. Вот и считайте сами...

. . . . . .

Был чудесный день в Лондоне, ярко зеленела трава на лужайках, когда Воронцов снова навестил Фокса.

— У меня новость... приятная для вас! — сообщил он ему.— Наша императрица пожелала заказать ваш бюст, дабы поместить его в Камероновой галерее своей царско-сельской резиденции, причем она уже выбрала для вашего бюста отличное место.

— Какое же? — фыркнул Фокс, явно недоумевая.

— Вы будете красоваться между Демосфеном и Цицероном.

— А... вы? — спросил Фокс.— Где же ваш бюст?

Воронцов отвечал с иронической усмешкой:

— Если ваш бюст императрица ставит, чтобы лишний раз взбесить Питта, то мой бюст способен взбесить только императрицу! Не забывайте, что я состою в оппозиции к ее царствованию, как и вы, милый Фокс, в оппозиции к правлению Питта...

Медленной походкой утомленного человека дипломат вернулся на Гарлейскую улицу, где и занял свой пост — в кабинете посольства. Именно в этом году,

когда Россия выиграла войну без войны, в Англии скончался поэт Роберт Бернс...

И мне стало даже печально: как давно все это было!

Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте!

Следует помнить, дорогой читатель: борьба за мир не сегодня началась и не завтра она закончится. Только нам уже не слыхать мажорного скрипения старых гусиных перьев, зато из ночи в ночь грохочут в редакциях газет бодрые телетайпы...

Будем надеяться. Будем верить.

Валентин Саввич Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

РОМАН

(Окончание)

Учредители: **ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ», ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ, СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР**

Редактор *И. Вититнева*
© Иллюстрации *П. Пинкисевича*
Художественный редактор *А. Моисеев* Технический редактор *А. Кашафутдинова*
Корректор *И. Ломанова*

Сдано в набор 03.10.90. Подписано в печать. 18.12.90. Формат 84×108$^{1}/_{16}$. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,66. Уч.-изд. л. 11,99.
Тираж 3 200 000 (1-й зав. 1—2 700 000) экз. Заказ 2043. Цена 1 р. 10 к.

Адрес редакции: ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати.
142300, г. Чехов Московской обл.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.
Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

Здравствуйте, уважаемый Валентин Саввич!

Беспокоит вас московский художник-журналист Андреев Олег Александрович в связи с публикацией в газете «Советская Россия» Вашей миниатюры «Маланьина свадьба». Я очень рад, что вы взялись за такую тему, как казачество.

Сам я из славного рода донских казаков Губаревых по материнской линии. На протяжении двух лет занимаюсь исследованием на тему: «Донские казаки и войны XVII—XIX вв. на примере рода Губаревых». Я узнал, когда впервые мои предки упоминались в документах, в каких войнах они участвовали, где воевали и чем жалованы за службу были.

Почему же я обращаюсь к Вам?.. Я хочу рассказать Вам о двоюродном брате моей бабушки Лидии Михайловны Губаревой — Иване Яковлевиче Фомине, казаке с Дона. В 80—90-х годах прошлого века он окончил Петербургскую военно-медицинскую академию, гражданский факультет. Долгое время работал врачом на бирже столицы. От первого брака у него было двое детей — Яков и Алла. Однажды он встретил где-то девушку, единственную дочь старшего Елисеева-финансиста. Того самого, который с младшим братом имел знаменитые магазины. Иван Яковлевич и дочь старшего Елисеева полюбили друг друга, но встретили препятствие в лице его жены. Развод в таких случаях не давался. Не знаю, что способствовало расположению финансиста по отношению к Ивану Яковлевичу, но будущий тесть каким-то образом через Синод добился развода и получил зятя-врача. Занимаясь медициной, он первым в России приступил к исследованию пересадки тканей человеческого тела (об этом упорно говорилось среди моих родных еще до войны, ибо дитя от этого брака — Платон — всегда был «притчей во языцех», так как, человек веселого нрава, беззаботный, он всегда шел в сравнение со своим отцом). Иван Яковлевич был почетным членом Английской королевской, Французской и Немецкой медицинских академий...

Воспитанием Платона и детей от первого брака занималась мать через многочисленных слуг и гувернеров. Елисеев-финансист дочери в приданное построил имение в Эстонии, в местечке Тойла, под Нарвой. После революции этим имением завладел президент Аятс, сделав его своей резиденцией... Воспитывала детей жена Ивана Яковлевича на английский манер, и с каким восторгом, с какой благодарностью Платон Иванович вспоминал мою бабушку, когда попадал на Дон. Возвращался он в Петербург здоровым, крепким, напрочь забывшим английские манеры...

Перед революцией жена умерла. Врач овдовел. Больше жениться он не пытался, занимался врачебной деятельностью. Вскоре грянула империалистическая война. В Петроград приезжает полностью сформированный и финансированный японский госпиталь — дар японского правительства России. Его начальником был назначен по высочайшему повелению Иван Яковлевич. Вот здесь, в госпитале, очевидно, и развернулся полностью его талант, а обширная практика еще больше способствовала применению пересадки тканей.

Произошли революции, и первая и вторая. Дед Елисеев-финансист со своим камердинером и его младший брат с родными отъехали в Париж. Вскоре из-за тяжелых условий жизни в Петрограде отбыл на родину Иван Яковлевич с детьми. Семейное предание, да и Платон Иванович неоднократно упоминали об этом периоде. Словом, в 18-м году вооруженная банда напала на станицу — кто это был, Бог знает. Долго отстреливался врач Фомин в присутствии детей, а когда стали ломать дверь, обнял детей своих и в последнюю минуту не выдержал и пустил пулю в себя. Платон Иванович прожил почти 82 года, был инвалидом войны, похоронен в Орджоникидзе...

Почему пишу, может быть, вам удастся установить приоритет открытия пересадки тканей, что так способствовало лечению и выздоровлению воинов империалистической, гражданской и Отечественной войн. Россия всегда славилась умом, но также сокрытием нового по причине нежелания российского приоритета.

С уважением Андреев.

г. Москва.

Здравствуйте, глубокоуважаемый Валентин Саввич!

К вам обращается старший научный сотрудник Омского музея изобразительных искусств Еременко Татьяна Владимировна.

В собрании нашего музея хранится картина Валерия Ивановича Якоби «Волынский на заседании кабинета министров» 1875 года. Работа поступила к нам в 1927 году из Ленинградского отделения Государственного музейного фонда, ранее она находилась в собрании великого князя Николая Константиновича.

Глубокоуважаемый Валентин Саввич, учитывая вашу влюбленность в XVIII век и глубокие познания истории этого периода, обращаюсь к Вам за помощью. Не поможете ли Вы раскрыть сюжет нашей картины, рассказать, кто здесь может быть изображен?

Я искала портретные изображения Артемия Петровича Волынского, но безуспешно. Библиотеки нашего города страдают отсутствием хороших полезных старинных книг.

Если исходить из того, что главного героя картины художник должен выделить композиционно, то фигура стоящего возле стола — это сам Артемий Петрович. Но что за герои, изображенные в различных позах вокруг стола? Это его друзья-«конфиденты» или министры, входящие в состав кабинета импер. Анны Иоанновны? Возможно ли, что герой справа на коляске — это Остерман? Особенно меня интересует фигура за ширмой. Кто это: Бирон или кто другой? У Ровинского нашла гравированный портрет Бирона, на котором он полный, солидный, здесь же худощавый... На пяти фигурах синие орденские ленты Андрея Первозванного. На груди «героя за ширмой»— две орденских звезды и синяя лента. Где располагался кабинет министров? Во дворце Апраксина, где жила Анна Иоанновна? Все эти вопросы хотела задать Вам. Глубокоуважаемый Валентин Саввич, помогите, пожалуйста.

г. Омск.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ, Витаутас БУБНИС, Олег ВОЛКОВ, Геннадий ГОЦ, Даниил ГРАНИН, Юрий ГРИБОВ, Владимир ДУДИНЦЕВ, Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь), Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора), Василий НОВИКОВ, Евгений НОСОВ, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Леонид ФРОЛОВ.

1 р. 10 к.

70782

РОМАН-ГАЗЕТА

3

В четвертом номере «Роман-газеты»
читайте повести

Виктора АСТАФЬЕВА «ЛЮДОЧКА»,
Леонида БОРОДИНА
«ТРЕТЬЯ ПРАВДА»